

первая четверть



Алгебра

5

Русский
язык

5

Ленне

5

Ботаника

4

чра

ме

Искорка



ни

ра





Василий Князев

ПЕСНЯ КОММУНЫ

Нас не сломит нужда,
Не сожнёт нас беда,
Рок капризный не властен над
нами.

Никогда, никогда,
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!

Всё в свободной стране
Предоставлено мне,
Сыну фабрик и вольного луга.
За свободу свою
Кровь до капли пролью,
Оторвусь и от книг и от плуга.

Пусть британцев орда
Снаряжает суда,
Угрожая Руси кандалами.
Никогда, никогда
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!

Славен красный наш род,
Жив свободный народ —
Все идут под знамёна Коммуны!
Гей, враги у ворот!
Коммунары, — вперёд!
Не страшны нам лихие буруны.

Враг силён? — Не беда!
Пропадёт без следа,
Коли жаждет господства над
нами.

Никогда, никогда
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!

Коль не хватит солдат —
Станут девушки в ряд,
Будут дети и жёны бороться;
Всяк солдат — рядовой
Сын семьи трудовой, —
Все, в ком сердце мятежное
бьётся!

Нас не сломит нужда,
Не сожнёт нас беда,
Рок капризный не властен над
нами.

Никогда, никогда,
Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами!

1918 г.



Марш Будённого



С неба полудённого
жара — не подступи!
Конная Будённого
раскинулась в степи.
Всё, что мелкой
пташкой
вьётся на пути,
перед острой
шашкою
в сторону лети!
Не сынки у маменек
в помещицъем
дому —

выросли мы
в пламени,
в пороховом дыму.
И не древней
славою
наш выводок
богат —
сами литься лавою
учились на врага.
Пусть паны не
хвастают
посадкой на
скаку, —
смелем рысью
частою
их эскадрон в муку.
Будет белым
помниться,
как травы шелестят,
когда несётся
конница
рабочих и крестьян.
Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним
обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки
звякают
памятью о нём,
так растопчем
всякую
гадину конём!
Никто пути
пройдённого
назад не отберёт,
Конная Будённого
армия — вперёд!

1923 г.



ХОДОКИ

В зипунах домашнего покроя,
Из далеких сёл, из-за Оки,
Шли они, неведомые, трое, —
По мирскому делу ходоки.
Русь металась в голоде и буре,
Всё смешалось, сдвинутое враз.
Гул вокзалов, крик
в комендатуре,
Человечье горе без прикрас.
Только эти трое почему-то
Выделялись в скопище людей,

Не кричали бешено и люто,
Не ломали строй очередей.
Всматриваясь старыми глазами
В то, что здесь наделала нужда,
Горевали путники, а сами
Говорили мало, как всегда.
Есть черта, присущая народу:
Мыслит он не разумом одним, —
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.
Оттого прекрасны наши сказки,



Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум и сердце без опаски
На одном наречье говорят.
Эти трое мало говорили.
Что слова! Была не в этом суть,
Но зато в душе они скопили
Многое за долгий этот путь.
Потому, быть может, и таились

В их глазах тревожные огни
В поздний час, когда
остановились
У порога Смольного они.
Но когда радушный их хозяин,
Человек в потёртом пиджаке,
Сам работой до смерти измаян,
С ними говорил накоротке,
Говорил о скудном их районе,
Говорил о той поре, когда
Выйдут электрические кони
На поля народного труда,
Говорил, как жизнь расправит
крылья,
Как, воспрянув духом, весь
народ
Золотые хлебы изобилья
По стране, ликуя, понесёт, —
Лишь тогда тяжёлая тревога
В трёх сердцах растаяла, как
сон,

И внезапно видно стало много
Из того, что видел только он.
И котомки сами развязались,
Серой пылью в комнате пыли,
И в руках стыдливо показались
Чёрствые ржаные кренделя.
С этим угощением безыскусным
К Ленину крестьяне подошли.
Ели все. И горьким был
и вкусным
Скудный дар истерзанной земли.

1954 г.



Рис. В. Адаева¹



(Рассказ Ольги Антоновны Дроздовской)

Со дня рождения своего я принадлежу рабочему классу и революции. Горжусь этим!

Мои родители работали на Военно-подковном заводе, — был такой у нас на Васильевском острове. Прямо у станка, в цехе, я и появилась на свет. Было это ещё в прошлом веке — в 1899 году.

Моего деда насмерть заporоли розгами за то, что во время отмены крепостного права не славил «царя-батюшку», а говорил мужикам: «Это не свобода, это обман. Земля-то всё равно у помещиков».

Вся наша семья была революционной. В квартире хранилась марксистская литература, собирались подпольщики. Мой брат Владимир был старостой нелегального кружка. Я была ещё маленькая, не запомнила ни имен, ни фамилий людей, которые у нас собирались. Но одну мо-

лодую женщину знала очень хорошо: она всегда со мной играла, подарила настоящую куклу, — о таких игрушках дети рабочих в то время могли только мечтать. Я называла эту женщину тётей Надей. Много лет спустя мне сказала мать, что это Надежда Константиновна Крупская. А потом, когда опубликовали фотографии Надежды Константиновны в молодости, я посмотрела и обрадовалась: верно, она! Я тогда спросила у матери:

— Что ж ты мне раньше не сказала?

Она отвечает:

— Я твоему отцу поклялась, что никому, никогда не открою, кто у нас бывает и о чём говорят, хоть на куски пусть меня режут...

Вот как крепко хранили подпольщики свои тайны. И меня к этому приучили, можно сказать, с пелёнок.

Несколько раз в нашу ком-

нату врывалась полиция, устраивала обыски. Но ничего не находила. Участники кружка уходили через окно в кухне по доске, переброшенной на крышу сарая. Однажды мать рассказывала, как завернула она меня вместе с листовками в одеяло да так и держала на руках, пока «фараоны» (так называли полицейских) рылись в комнате.

Очень хорошо помню, как в революционные дни 1905 года мои родители вместе с товарищами защищали баррикаду от полиции и казаков, а я помогала им — подавала камни. Но таким оружием трудно было обороняться от винтовок и пашек. И вот мы с матерью бежим по Среднему проспекту, сзади слышится цокот копыт, вот-вот догонят казаки... Толкаемся в одни ворота, в другие, — всё заперто. А топот ближе, ближе... Мать прижала меня, закрыла собой, ткнулась в угол... Казаки, не сбавляя рыси, промчались мимо, только один из них со всего маху полоснул мать по спине нагайкой. Ожёг тело кровавый рубец. Навсегда осталась у матери эта отметина. Отца в тот день ранили пулей в руку. А у меня, маленькой девчонки, ещё жарче стала ненависть к палачам.

В те дни я родителей жалела, их боль в сердце принимала, а потом уж и они за меня поволновались. Однажды возвращаются с работы, а



О. А. Дроздовская в годы гражданской войны.

я вся избита, лицо опухло, в синяках.

— Что с тобой, Оленька?

Рассказываю, что приходили с обыском, допытывались, кто у нас бывает, где тайные бумаги лежат. И добром спрашивали, и страшали, и били, а не вышло. Погладил меня отец по голове, обнял крепко:

— Молодец, дочка. Моя кровь...

Дальше — больше. В пятнадцать лет я на завод поступила, на тот же самый, Военно-подковный. Немного поработала — арестовали. Не понравилось хозяевам, зачем рабочим говорю, что их обсчитывают.

В тот раз я не испугалась. Зато во второй раз натерпелась страху. Со мной листовки были, целая пачка. Везут



меня в тюрьму, а я всё думаю, как от них избавиться. Под ноги бросишь — увидят. Найдут при обыске — пиши пропало, на каторгу упекут. Однако обыскивать меня не стали, толкнули в камеру, и дверь на замок.

В камере тоже листовки не схоронить. И пришлось мне их есть. Тюремщики удивляются, почему я от пищи отказываюсь. А мне только

пить хотелось, жгла горло бумага. Но сжевала, проглотила всё до последней листовки. Обвинений у полиции против меня не нашлось, недели через две выпустили, но перед тем обыскали. Шарят они, шарят, а я смеюсь про себя: поздно хватились, голубчики!..

В Февральскую революцию мы отобрали у хозяина завода легковую машину, — до-

вольно, покатался, капиталист! Сел с винтовками, кто на сиденье, кто на подножке, на крылья даже прилепились, и поехали полицейских «снимать». Они, «фараоны», на чердаках сидели, на колокольнях, из пулемётов по рабочим стреляли.

У меня винтовки тогда ещё не было. Но вскоре появилась. Выступала перед солдатами, объясняла, что война эта одним буржуям нужна, а рабочим да крестьянам от неё только несчастья. Видать, понятно говорила. Хорошо слушали солдаты. А один хватил изо всей силы винтовкой по булыжникам — только щепки от приклада полетели.

— Раз войны не надо, — кричит, — и ружьё ни к чему!

— Эх ты, — говорю, — бороды. Разве так можно! — Взяла винтовку — и домой. Отец её починил. С этой винтовкой да с санитарной сумкой я и пошла на штурм Зимнего. Я ведь на медсестру училась, могла раненому помощь оказать. Вот меня и включили в санитарный отряд василеостровской Красной гвардии.

Не пригодилась мне санитарная сумка. Говорят, кое-кого из наших ранило во время штурма, но возле меня все были целые. И вот хожу я по Зимнему дворцу, как хозяйка. Смотрю — трон царский. Потрогала и разочаровалась. Думала, царь на мягком сидит, на пуховых по-

душках. А трон жёсткий оказался, не понравился мне.

Против царя я повоевала, против Временного правительства. Вскоре и против немцев пришлось. Нарушили они перемирие, стали наступать на Питер. Совет Народных Комиссаров обратился к народу с воззванием: «Социалистическое отечество в опасности!» Это воззвание написал Владимир Ильич Ленин. Сразу же двинулись в бой отряды Красной гвардии, на ходу превращаясь в полки Красной Армии. Великое это дело — рождение советских вооружённых сил — происходило в феврале 1918 года. И тут без меня не обошлось. Вместе с нашими заводскими я отправилась под Нарву.

Захлебнулось немецкое наступление. Большой крови нам это стоило. Многие товарищи погибли. И я тоже чуть на тот свет не угодила. Взорвался рядом немецкий снаряд. Поднялась дыбом чёрная земля. Грохнуло, потащило меня, ударило. Провалялось куда-то всё, одна чернота... Потом рассказали — землёй меня засыпало. Откопали после боя, принесли к врачу, а он говорит:

— Зря только потревожили. Мёртвая она. Закапывайте.

Но товарищи решили погибших привезти в Петроград и похоронить с почестями, как героев. Положили всех в вагон, повезли. В вагоне я и очнулась. От тряски,

должно быть. Жутко мне стало. Стучу — никто не слышит. Так и ехала всю дорогу. В Петрограде, на вокзале, открыли двери, я как выскочу — люди от меня в стороны. Один дед закрестился.

— Ты живая? — спрашивает.

— Живая, — говорю, — живая, только замёрзла до смерти.

С немцами управились — чехословацкий корпус поднял мятеж. Этот корпус был сформирован из военнопленных и перебежчиков, сражался он против Германии в первую мировую войну. А когда Советское правительство заключило с Германией мир, чехословаки отправились через всю Россию на Дальний Восток, чтобы морем вернуться на родину. Но по дороге их обработали враги советской власти. Корпус этот был большой силой — около сорока тысяч бойцов, обученных, обстрелянных, вооружённых, что называется, до зубов. Правда, многие чехи и словаки сразу же на нашу сторону перешли. Но большинство белым поверило. Ударили белочехи в спину молодой Красной Армии. А там и адмирал Колчак объявился со своим войском. Застонала земля Сибири и Урала под ногами белогвардейцев. Отсюда, с Восточного фронта, надвинулась на республику грозная опасность.

Летом 1918 года тысячи петроградских рабочих уходи-

ли на борьбу с врагом. Шли добровольно, зная, что, может, и не придётся вернуться домой. Первого июля и я записалась на фронт. Ехала в поезде и всё проверяла, на месте ли маленькая книжечка — билет члена Российской Коммунистической партии большевиков. И знать не знала, что я, молодой коммунист, скоро стану комиссаром.

Назначили меня в партизанский отряд. А в отряде кого только не было — и латыши, и немцы, и венгры... Командовал нашим интернациональным отрядом Александр Гандер, тоже не русский, не помню только, какой национальности. Действовали мы в районе Екатеринбурга — так в те времена Свердловск назывался. Укрывались в лесах и оттуда нападали на белых. Много было таких отрядов на Урале, и каждый выполнял свою задачу.

Однажды собрались наши бойцы — все полтора ста человек. Говорит командир Александр Гандер:

— Надо нам, товарищи, выбрать комиссара. Это непорядок — отряд без комиссара. Называйте кого хотите.

Стали думать. И слышу, кричит кто-то:

— Лолу! Давайте Лолу выберем!

Лолой в отряде меня звали. Имя моё — Ольга или Лёля — многим не выговорить.

Тут зашумели партизаны:

— Всем хороша девка. Бо-
её что надо. Одно плохо —
девка. Что за комиссар в
юбке...

Другие кричат:

— А мы её парнем сде-
лаем. Косу обрежем, штаны
наденем...

Тут я не вытерпела:

— Да ни за что!

Говорят мне строго:

— Сядь на пенёк в сторон-
ке, подумай. Даём тебе пять
минут. согласишься — бу-
дешь комиссаром. Не согла-
сишься — накажем за непод-
чинение революционной дис-
циплине.

Села я на пенёк. Да толь-
ко что ж тут думать? Как же
мне, коммунисту, революци-
онной дисциплине не подчи-
ниться! Тогда с беспартий-
ных и спрашивать нечего. Ко-
су, конечно, до слёз жалко —
богатая у меня была коса,
чуть не до земли. Теперь-то
я понимаю, что нисколько бы
она не помешала мне комис-
сарить. А тогда упёрлись
партизаны, ни в какую.

Стала я комиссаром. На
виду у всего отряда питер-
ская девятнадцатилетняя
девчонка. Партизаны, кото-
рые мне в отцы годятся, у
меня совета спрашивают, с
меня пример берут. Тут уж
не о себе думай — обо всех и
обо всём. А главное — о ре-
волюции, о борьбе нашей с
врагами до полной победы.

Дело своё я понимала про-
сто: где трудно — там и ко-
миссар. В тяжёлом походе
притомились бойцы. Ноги в
кровь разбиты по каменистым

уральским тропам. В животе
пусто. Позади — бои, впереди
— бои... А я песню заведу
боевую, революционную —
голос у меня сильный был,
это уж потом мне лёгкие от-
били, не певунья стала. Вот
запою всей грудью, звонко,
задорно, и глядишь, подни-
маются головы, распрям-
ляются спины, усталость, как
мешок, с плеч к ногам ва-
лится.

Появился вскоре в нашем
пешем отряде конь: достался
от белого офицера. Кому на
коне ездить? Комиссару. А я
и не знаю, с какой стороны к
нему подойти. Косит глазом,
грызёт удила, гривой трясёт,
копытом постукивает, — ря-
дом и стоять боязно. Но де-
лать нечего. Улучила мо-
мент, вскарабкалась кое-как
в седло и начала учиться это-
му ремеслу. Сколько раз па-
дала, сколько шишек набила,
не сосчитать. Зато ездила по-
том, как джигит. Из винтов-
ки и револьвера научилась
стрелять не хуже любого. И в
разведку ходила чаще дру-
гих. Правда, оберегали меня
товарищи от лихой пули. Да
я-то не береглась, вперёд
лезла.

Запомнилась мне одна не-
обычная разведка. Узнали
мы, что в соседнем селе стоит
белый штаб. Охраняется он
хорошо, напасть на него не-
возможно. А узнать, что вра-
ги замышляют, очень хочет-
ся. Как быть? Думали-дума-
ли и придумали. Раздобыли
для меня бойцы нарядное
платье из дорогой материи, с

кружевами, в талию. Я его подогнала, подшила, примерила — загляденье. Нашлась и шляпка, и модные туфельки. Разоделась я и себя не узнала — франтиха, настоящая господская дочка. Походила по поляне, поломалась, как нежная барышня, — посмотрелась на них в Питере, на чистеньких. Попробовала — этак ручку держать, этак плечиком пожать, этак губки надуть. Выходит! Хоточут партизаны: ну и артистка наша Лола! А я ещё кое-какие французские слова знала. Во-первых, на курсах медсестёр слышала, во-вторых — читала, в-третьих — отряд-то у нас интернациональный, любой язык, коли захочешь, изучить можно.

И вот пошла в село «барышня». Платье по земле волочится, я его пальчиками приподымаю — неудобно с непривычки. За мной «прислуга» поспевает — партизанка наша Лена. А сзади Бобик бежит, хвост крючком, уши торчком. Смышлёный пёсик, ласковый. Прибился он к отряду, от меня ни на шаг.

Пришли мы в село. Пушки у околицы стоят, пулемёты, лошади у забора привязаны, солдат полно. Поманила я одного беляка:

— Проводи к вашему начальнику.

— А кто вы такие будете? — спрашивает.

— Не твоего ума дело, — говорю ему строго. — Веди!

— Слушаюсь! — гаркнул солдат.

Пошли к штабу.

Попросил солдат на крыльце подождать, а сам отправился докладывать по начальству. Только мы с Ленкой дух перевели, выходит ко мне генерал — плюгавенький такой старичок, лысоватый, с усиками:

— Чем могу служить, сударыня?

А я ему — как по-писанному:

— Генерал, я обращаюсь к вам за помощью и защитой. Я дочь местного помещика Дроздовского, Ольга Антоновна (свое имя говорю, чтобы не запутаться; выдумывать нет надобности). Здесь недалёко наша усадьба, но в ней теперь хозяйничают красные...

Тут генерал каблуками щёлк, шпорами дзинь, наклонился, руку мне поцеловал и торжественно произнёс:

— Не волнуйтесь, сударыня. Здесь, под защитой моих доблестных войск, вы в полной безопасности. Рад принять у себя такую юную и прелестную гостью.

Ну, думаю, дело идёт на лад.

Взял меня генерал под руку и повёл в дом. Прислуга, понятно, в сенях осталась, а Бобик у крыльца.

Усадил меня генерал в кресло. Адъютант вьётся — молодой, разутюженный, с масляными волосами на подбор. Воды мне подал, — видит, волнуясь я. Только ге-



нералу старанья адъютанта не понравились: прочь его отослал с приказанием позаботиться о завтраке на двоих. Принесли закусок разных и бутылку шампанского. Я генералу плету про свои несчастья, рассказываю, как меня, дворянскую дочь, красные притесняют. А он головой кивает с участием да всё шампанское мне подливает в бокал. Отпила я немного —

чувствую, голова закружилась. Нет, думаю, так у нас дело не пойдёт. Стала вино потихоньку на пол выливать. А сама капризно спрашиваю:

— Скоро ли, генерал, вы разобьёте этих проклятых большевиков? Что же ваши доблестные войска — с мужичьём справиться не могут?

Генерал распушился, глаза выкатил, щеками затряс.

— Не беспокойтесь, Ольга Антоновна, этому безобразию скоро придёт конец, клянусь честью. Наше командование разработало блестящий план полного уничтожения большевистских банд. Моя дивизия нанесёт им сокрушительный удар.

— Ах, скорей бы. Но вы, может быть, только успокаиваете меня?

— Свидетель бог, сударыня: говорю вам сущую правду. Если бы столь юная девушка могла разобраться в воинской науке, я показал бы карту и всю диспозицию предстоящего сражения. Грядущая победа — в планшете моего адъютанта. Только вчера он привёз от командования документы, которые, несомненно, войдут в историю...

Та-ак, думаю, клюёт. И с кокетливой улыбкой обращаюсь к своему плешивому кавалеру:

— Пардон, генерал, разрешите вас оставить на две минуты, надо мне с горничной моей поговорить.

Выхожу в сени. А там прислугу мою этот самый адъютант обхаживает. Елена красива была, как богиня: статная, крепкая, румяная, русая коса в руку толщиной. Она ведь не комиссар, ей с косою можно...

Застеснялся меня адъютант, отскочил в сторону. А я Ленке шепнула про его планшет. Быстро придумали, что делать. В такие минуты голова чётко работает, надо

только в руках себя держать, не теряться.

Я обратно к генералу. Его от шампанского немного развезло, побагровел, пот с него льёт. Послушала я его любезности, пожеманничала, а потом говорю:

— Гран мерси за угощение и гостеприимство. А теперь я хочу погулять, подышать воздухом.

— Чудесно! — обрадовался старикашка. — Я составлю вам компанию.

Это в мои расчёты не входило.

— Нет-нет, генерал, не смею отрывать вас от дел. К тому же мне хочется побыть одной. Лучше мы с вами после обеда погуляем.

Согласился. Но одну меня не отпустил. Вызвал здорового солдата и велел ему меня сопровождать. У крыльца Бобик лежит. Пасть раскрыл, язык высунул — жарко. Увидел меня и словно догадался, что нами задумано.

Гуляю по селу, смотрю, что у белых где находится. Солнце показывает: пора. Вышла за околицу, к лесу направляюсь. Но на опушке мой провожатый остановился:

— Туда нельзя, барышня.

— Это ещё почему? Я хочу цветов нарвать. Хочу посмотреть, нет ли грибов.

Солдат ни в какую:

— В лесу опасно. Ещё опять к красным попадёте. Нельзя.

Тут я рассердилась, ногой топнула:

— Ах ты невежа! Я на тебя генералу пожалуюсь. Стой тут, жди меня.

И Бобик на него: гав! Не обижай, дескать, хозяйку.

Не посмел солдат ослушаться. Я в лес, за деревья, за кусты. Оглянулась — не видит. Шепнула Бобику: «Молчи!» Да как припущу бежать. По кочкам, по траве, по валежнику... Платье длинное за сучки цепляется. Подхватила его, туфли сбросила, босиком лечу, только пятки сверкают. Главное теперь — на ту поляну попасть, где наши ждут. Солнце мне дорогу указывает, Бобик впереди бежит, воздух нюхает. Прибежали. Стоят наши наготове, лошади оседланы. Обрадовалась я до того, что сказать не могу. Но за Лёну беспокоюсь. Нет её и нет. Неужели попала? Но вот от сердца отлегло: бежит моя Ленка, расстрёпанная, разгорячённая, а в руке — планшет! Бросилась ко мне на шею, целует, плачет.

— Ну, молодец, — говорю, — как же ты с адъютантом справилась?

Она ещё дух перевести не может, хватает воздух раскрытым ртом:

— Придушила... Он меня всё в сарай тянул, проклятый... Там и остался...

Не мешкая, сели мы на коней. Лесом, тропочкой выбрались на дорогу и — ходу. Вдруг слышим — топот за спиной. Погоня! Пришпорили коней. Тут лес кончился, на открытое место выехали.

Увидели нас, палить начали вдогонку. Партизаны отстреливаются на ходу. Скачем во весь опор, ветер свистит в ушах, пули жужжат. Вдруг мой конь заржал, взвился на дыбы и упал. Я с седла, с разгона грохнулась о землю, аж в голове звон, в глазах круги разноцветные. Но вскочила, лежать некогда. Дёргаю коня — думала, споткнулся просто, — а он хрипит, на губах розовая пена. Убили... Меня товарищ подхватил, посадил перед собой, опять скачем. Ближе уже. Только что-то плохо мне стало. Кровь горлом хлынула. Сознание теряю. Намотала ремень планшета потуже на руку, говорю партизану:

— Держи меня крепко, ранена я...

Наконец отстала погоня, прискакали мы в отряд. Снимают меня с седла чуть живую. Вся грудь в крови. Прибежал командир, товарищ Гандер. Я ему планшет протягиваю, а он меня за плечи трясёт:

— Лола, что с тобой, Лола?

Тут я вовсе сознание потеряла. Испугались партизаны: комиссар умирает... Врача в отряде не было, я раны перевязывала, Лёна помогала — подучила я её. Она меня осматривает, ищет рану и найти не может. Оказалось, не попала в меня пуля, просто сильно ударились я, когда с коня упала. Полежала немного и отошла, поправилась. А важные бумаги, что мы с

Леной добыли, командир передал в штаб. Очень они пригодились Третьей армии Восточного фронта.

Много было у нас боёв, много одержали побед партизаны. Но пришла неожиданно чёрная беда.

Стали мы на отдых в селе Илим Пермской губернии. Нужна была передышка, чтобы сил накопить да снова по врагу ударить. Отдыхаем, чиним снаряжение, приводим в порядок оружие. И я свой револьвер отдала наладить — что-то в нём заедать стало.

И вдруг на рассвете 16 сентября, когда партизаны под петушиную побудку досматривали сладкие утренние сны, со всех сторон загрели выстрелы. Окружили нас белые, часовые поздно обнаружили врага. Высыпали мы на улицу, залегли, стали отстреливаться. Командир к орудию побежал — незадолго пе-

ред этим мы добыли пушку. Идёт бой, а я без оружия. Бобик рядом вертится, повизгивает. Бабахнула наша пушка раз, другой. Но силы неравны. Стали наши отступать. Тут меня белые заметили. Пули под носом землю пахнут. Только голову подниму — градом сыплются гостинцы. А лежать нельзя — наши к лесу отходят. Выждала я, когда стрельба стала пореже, вскочила и бежать. Да не далеко убежала — контузило меня.

Навсегда в моей памяти остался этот день, 16 сентября 1918 года. С него начались мои мучения. Попала я в руки к белым. И не одна я — полную избу набили пленными.

Тут и Лена оказалась и ещё одна партизанка, Катя. Остальные — мужчины. Сидим, горюем. Не знаем даже, кто уцелел из отряда. Това-



рищи говорят, что Гандер прикрывал отступление, а сам не пробился. Окружили белые, видит — нет спасения, последнюю пулю в сердце пустил...

Несколько часов просидели мы в избе, кто раненый, кто избитый. У меня голова шумит, словно самовар. Вдруг команда:

— Выходи!

Вышли. Белые нас прикладами толкают, выстраивают вдоль стены. Значит, расстрел. Эх, думаю, скорей бы. Видела я, как они расправляются с женщинами — красными бойцами. Согнут два молодых дерева, привяжут к ним за ноги и отпустят. На куски разрывает человека. Так чем эту лютую казнь принимать, лучше уж от пули погибнуть.

Выстроили нас в два ряда. Передо мной — молодой партизан Вася. Я его прошу:

— Вася, давай местами поменяемся. А то в тебя раньше пуля ударит, станешь на меня падать — испугаюсь. Пусть в меня сперва...

Вышла я в первый ряд. Белые уже затворами щёлкают, как волки зубами. Вдруг подъезжает ко мне один конный казак:

— А ну, снимай куртку!

Куртка моя кожаная ему понравилась. Тянет за рукав. А меня зло взяло. Ударила его по руке:

— Убери лапу!

— Всё равно ведь сейчас убьём, — ухмыляется казак.

А я кричу:

— Убей сперва, а потом снимай!

Рассвирепел беляк, свесился с седла, рвёт с меня куртку, а я не даюсь. Он здоровый бугай, я — маленькая, тоненькая, но борюсь, не уступаю. Белые собрались, зубы скалят, интересно им. Тут я как-то изловчилась, ухватила казака и — откуда только сила взялась — стащила его с коня. Плюхнулся он прямо в лужу, барахтается в грязи. Белые хохочут, за животы хватаются. Умора.

— Ну и девка! — кричат. — Такого мужика поборола!

Тут подъехал их капитан, заругался, разогнал всех. Я тем временем обратно в строй стала, на своё место. Опять на нас винтовки направляют. Но капитан крикнул:

— Отставить! Вывести её.

Схватили меня, оттащили в сторону и повели на реку. И Катю заодно со мной. Пожалела я тогда, что связалась с этим казаком. Отдала бы ему куртку, расстреляли бы меня вместе со всеми. А теперь издеваться начнут...

Так и вышло. Как я ни сопротивлялась, раздели меня, швырнули на большой камень. Двое за ноги держат, двое за руки, а пятый стегает розгами и приговаривает:

— Не носи баба портки! Не носи! Не носи...

Мало им показалось убить меня, захотели ещё унижить. Но я им удовольствия не доставила. Прикусила губу, чтобы не застонать, молчу. Слышу — Катя рядом стоит,

плачет. А потом ничего не слышу, ничего не чувствую... Катя после рассказывала: кончили меня стегать, отпустили, а я с камня свалилась, как мешок. Перепугались живодёры:

— Убили мы её! Попадёт теперь...

Притащили ведро воды, вылили на меня. Второе, третье... После третьего шевельнулась, открыла глаза. Беляки успокоились, ушли, только сапоги и куртку взяли. Но мне уж теперь на куртку наплевать, рада, что гимнастёрку оставили. Ведь в ней, в потайном кармане, партийный билет. Если жива останусь, если погибать буду — партийный билет со мной должен быть.

Помогла мне Катя одеться, кое-как доковыляли до избы. У стены товарищи расстрелянные лежат. Но не всех в тот раз погубили, остальных опять в избе заперли.

Ночь настала. Улеглись мы на пол в ряд. За столом беляки вино пьют, белый хлеб у них, сало. Пировали-пировали, потом нас зовут:

— Идите, бабёнки, поешьте.

А я, битая, от боли на спину повернуться не могу, но кричу им:

— Подавите вы своим белогвардейским хлебом!

Думала, опять накинута. Но не стали. Поленились, наверно.

Утром повели нас на станцию. Я идти не могла, везли на подводе. А за подводой

Бобик бежит, верный друг. Дорога шла лесом. Вдруг остановка. Засуетились что-то беляки, забегали. Издали выстрелы доносятся. Значит, бой идёт. Значит, наши рядом! Должно быть, показалось белым с перепугу, что плохи их дела, и решили с нами покончить. Расставили вдоль дороги перед пулемётом. И меня выволокли, прислонили к сосне. Шумит она надо мной, упруго покачивает ветвями. Мне сейчас конец придёт, а ей жить и жить. Пусть лютуют палачи. Всё равно им не перебить большевиков, как тайгу не вырубить. Победит наша правда!

Бобик возле моих ног трётся. Толкнула я его: уходи, зачем тебе-то под пули лезть. Но не ушёл пес. Дрожит, взъерошился, уши прижал, а стоит рядом.

Залаял пулемёт. Падают товарищи навзничь на тёплую землю. Сейчас и я...

Но, видно, не отлили ещё мою пулю. Оборвалась очередь. Наступила тишина. И боя не слышно, укатился куда-то.

Собрали нас, уцелевших, повели дальше. А мы словно с того света вернулись и понять не можем — почему? Потом узнали, что на белых напала наша разведка. Да где ж ей справиться с целым полком!

Привезли нас в Екатеринбург, в тюрьму, по камерам рассовали. Камеры переполнены, нары в два яруса, вонь,

грязь, теснота... Нас было двадцать женщин. Партизанок трое — Лена, Катя да я, остальные здешние. А ещё Бобик с нами. Как он мимо караульных проскочил — не знаю. Впрочем, тюремщикам дел хватало и помимо какого-то пса. А некоторые надзиратели сочувствовали нам, помогали. Простые солдаты, обманутые офицерём, начинали понемногу понимать, что к чему.

Бегал Бобик то в камеру, то во двор, а то и на улицу, за тюремные ворота. Никто на него внимания не обращал. Но кого-то из арестованных угораздило повязать ему красный бант. Заключенным любо, а для белых этот цвет — что для бешеного быка. Увидел часовой красный бант на Бобике, остервенился, выстрелил... Счастье, что в лапу попал. Взвизгнул Бобик, заскулил, заковылял куда-то. Недели две его не видели. Потом прибежал на трёх ногах, боковая поджата. Ластится, на грудь прыгает. Оказывается, пожалели его дети начальника тюрьмы, к себе взяли, вылечили. Должно быть, не в отца, палача, пошли.

Вскоре сослужил нам Бобик добрую службу. Однажды нащупали мы у него в ошейнике бумажку. Развернули — записка с воли! Не от семейства начальника тюрьмы, конечно, — от товарищей, екатеринбургских революционеров. Вот это радость! Треплем мы Бобика, удивляемся: как он попал к большевикам? Но

Бобик рассказать об этом не может, только, видя, что мы рады, прыгает на трёх лапах, старается лизнуть лицо.

Стал Бобик почтальоном. Теперь мы знали, что делается на воле. Вести радовали: Красная Армия громила адмирала Колчака и интервентов. Близка победа! А мы за решёткой сидим... Стали думать, как бы на волю выбраться...

Но тут ещё напасть. Как-то к вечеру распространился по тюрьме слух, что завтра будут гимнастёрки отбирать. У заключённых революционеров издавна заведено: один узнает новость — в соседнюю камеру отстучит специальной азбукой. Так и обойдёт известие всю тюрьму. Зачем, думаем, гимнастёрки? Своих, что ли, белым не хватает? Но я встревожилась. У меня ведь партбилет в гимнастёрке. Отберут её — куда спрячешь? Решила перехитрить тюремщиков. За ночь с помощью подруг перешила гимнастёрку... в кофточку. Пришли утром надзиратели, потоптались, удивились, да и убрались ни с чем.

Тем временем товарищи разработали план побега. Решили напасть на внутреннюю охрану, разоружить её и уже с винтовками перелезть через ограду, пробиваться дальше. Не все пошли на рискованное дело. Из женщин — одна я.

Надзирателей в коридорах скрутили легко. Некоторые сами поддались, не сопротивлялись. Высыпали мы во



двор. Товарищи напали на часовых, завязалась борьба. Но сил у нас, изнурённых тюрьмой, не хватило. Грохнул выстрел, второй, поднялась тревога, пальба. Многих из нас убили тогда на тюремном дворе, остальных похва-

тали, бросили в карцеры и одиночные камеры.

Тяжело переживала я неудачу. А тут ещё повели меня на допрос, в штаб. Втолкнули в большой роскошный кабинет. За столом сидит черноволосый худощавый ге-

Набросились... Кулаками бьют, сапогами топчут... Ох, проклятые!..

Очнулась на операционном столе. Врач увидел, что я глаза открыла, успокаивает:

— Ничего, милая! Заштопаем — незаметно будет.

Какое там — незаметно. Палачи мне челюсть сломали, шпорой живот проткнули.

После операции бросили меня в одиночную камеру. Охранник рывкнул:

— К окну и двери не подходить! Будем стрелять без предупреждения!

А мне не то что куда-нибудь подходить — первое время не шевельнуться, такая боль. Кроме того, ни есть, ни пить не дают. Один раз бросили селедку. Я не удержалась, пососала её. Напрасно, не надо было этого делать. Такая жажда одолела, что белого света не взвидеть. Страшную пытку придумали колчаковские изверги. Да не он ли сам их надоумил? Узнала я, что допрашивал меня Колчак собственной персоной. Вот какую честь оказали белогвардейцы заводской девчонке с Васильевского острова!

Но мир не без добрых людей. Среди надзирателей была одна женщина, тетя Катя. Надзиратели обязаны за арестованными в дверной глазок наблюдать. Посмотрела тётя Катя на мои муки, и дрогнуло её сердце. Украдкой водички принесла. По камерам пошла: дайте питерской! Приносила кусочки хлеба. Ма-

лые те чёрствые кусочки от скупого арестантского пайка слаще любых кушаний, дороже золота. В них — волшебная сила братства.

Эту силу показал ещё один случай. Тётя Катя на свой страх и риск пустила ко мне Бобика. Обрадовалась я. Бобик — сам не свой. Визжит, на грудь бросается. Вдруг слышу — не ладно что-то в тюрьме. Крики, стук... Вошла тётя Катя, взволнованная, возбуждённая:

— Из-за тебя, Ольга, вся тюрьма ходуном ходит. Услышали визг в твоей камере и решили, что истязают тебя. Требуют немедленно прекратить побои. Объявили голодовку...

У меня слёзы к горлу подкатили. Передаю товарищам: не волнуйтесь, всё в порядке. Спасибо вам, родные...

Вскоре после того нас в лагерь перевели. Столько арестованных набралось, что в тюрьме не поместить даже в два яруса. В лагере порядка ещё меньше. Можно из одного барака в другой ходить, вместе собираться. Тут помогли мне партийный билет понадежнее припрятать — заделали в подмётку ботинка. Никакой обыск не дощется!

В лагере условия жуткие, больных стало много. Врача нет, а фельдшерица — как чурка деревянная, до совести не достучишься. Пьянствует с офицерами, а на заключённых внимания не обращает — подыхай, как знаешь. Тут

мои медицинские знания пригодились. Забрала я к себе лекарства, стала больных лечить. Товарищи мне на рукав нашили красный крестик. А караульные меняются и знать не знают — заключённая медсестра я или вольнонаёмная. Рискнула я как-то раз выйти за ограду. Прошла мимо часовых с замирающим сердцем, а те и ухом не повели.

Стала я часто в город уходить. В казармы наведывалась. Полегоньку всё откровеннее становились мои разговоры с солдатами. Чувствовалось — сыты они войной по самое горло. А я им о революции рассказываю, о Ленине, о том, что большевики не только за рабочих — и за крестьян тоже. Забиты тёмные солдатские головы ядовитой ложью, но день ото дня проясняются.

Однажды ночью проснулись мы в бараках от далёкого гула. Гроза идёт? Прислушались: нет, пушки стреляют, наступает Красная Армия!

Но мы-то в руках у врага. Белые злостью исходят: сдавать приходится Екатеринбург. А перед тем решили они с нами покончить. На окраине города, у стены монастыря, поставили заключённых на расстрел. Торопятся, прикладами бьют; столько народу согнали, что не расставить. Меня к самой стене притиснули. Перед смертью нельзя даже на травку зелёную полюбоваться,

вздохнуть полной грудью напоследок. И до чего же обидно умирать, когда свобода близко, совсем рядышком! В городе снаряды наших орудий рвутся, уже пулемёты слышны. Ещё бы несколько часов... Но нет их у меня. Остались последние минуты перед последним расстрелом.

Заклацали затворы. Конец...

Выстрелов я не услышала. Очнулась потому, что повернул меня кто-то. Открыла глаза — надо мной человек склонился, но какой — не вижу, расплывается всё. Вгляделась — красная звезда на фуражке!

— Никак живая? — удивился боец. — Вот так чудеса! Видать, под счастливой звездой родилась!

— Под звездой, — шепчу, — под красной...

Понесли меня на перевязку — я вся в крови, с ног до головы. И опять удивляются: нет на мне раны, кровь товарищей меня залила. А я, видно, сомлела, прижатая к стене. И опять смерть меня миновала.

Обмылась я кое-как, шатаясь побрела в город. Нашла штаб. Села там на пол и разубаюсь. На меня командиры глаза таращат:

— Ты в своём ли уме? Ночевать собираешься, что ли?

А я молча сняла ботинок, отодрала подмётку и достала свою драгоценность — партийный билет. Подаю его товарищам и плачу счастливymi слезами:

— Здравствуй, Красная Армия! Здравствуй, родная моя советская власть!

Она сидит передо мной — худощавая пожилая женщина с простым, совсем не героическим лицом. И рассказывает о себе просто, даже весело. Один только раз заплакала — когда заговорила о своей горькой материнской доле. Рассказы Ольги Антоновны дополняют документы. Не много их удалось ей пронести сквозь годы. Но каждый поражает. Вот партийный билет № 240, — он прошёл с ней сквозь все круги колчаковского ада. Вот справка, выданная родителям: «Ваша дочь Дроздовская О. А. расстреляна белыми...» Вот бумага, подписанная начальником 2-й екатеринбургской тюрьмы. На бланке с тюремной печатью — корявые строки: «Заключённая Дроздовская переводится в лагерь...»

И все эти расстрелы, пытки, надругательства она вынесла. Вынесла и многое другое: окровавленные койки госпиталей, в которых работала комиссаром. Тяжелые болезни — последствия стараний белогвардейских пала-



О. А. Дроздовская

чей. Слепоту и глухоту — когда в 1942 году её ударило воздушной волной разорвавшейся фашистской бомбы. И ещё, и ещё... Всё на те же худые, кажется, такие слабые, плечи.

Скажи ей, что она героиня, — удивится, не поверит. А как скажешь иначе?

Рассказ О. А. Дроздовской
записал Г. ПЕТРОВ
Рис. Ю. Шабанова

Исповедь

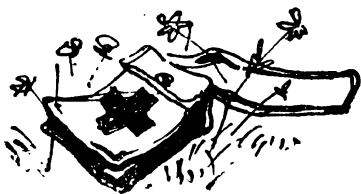
...В двадцатом была,
В июне что-то.
Под Бугом красная пехота
Ходила в бой за нашу власть.
А я была у них — санчасть.
Санчасть какая — банка с йодом
Да два брезента к двум подводам.
Что я могла?

Перевязать?
Да слово доброе сказать..
Ну, может, требовалась сила,
Когда из боя выносила..
Ну, страшно было на войне,
Так это всем — не только мне.

Остановились мы за Бугом
Недалеко от городка,
Где мать работала прислугой,
Где померла от сыпняка,
Где я, в пять лет, девчонкой шалой,
Идти упрячилась домой —
Весной по снегу тосковала,
Ждала черемухи зимой..

Состав командный, ближе к ночи,
Собрал комбат на разговор:
— Разведать надо бы..
Кто хочет?
— Так я ж там знаю каждый
двор!..

Мне всё поведал город сонный,
Я шла теперь уже навал,
И вдруг — мундир,
вразлёт погоны,
Глаза... знакомые глаза!
Я помню этот взгляд потухший,
Церковный мрак, мерцанье риз,
Слова, вползающие в душу:
«Смиренью, дочь моя, учись...»



— Узнала?
— Нет.
— Взгляни поближе..
Что ж ты в волнении таком?
Грешна пред богом?.. Вижу,
вижу..

Подвал мне этот был знаком,
Играли в прятки здесь..
— О боже!
Храни нас всех от суеты!
Начнем же исповедь,
Эй, ты!
Где твой отряд?..

Молчишь?..
Ну что же, —
У нас развязывают рты.
Где твой отряд?..
Что?..
Больно?..
То-то!..

Под Бугом красная пехота
Ходила в бой за нашу власть.
А я была у них — санчасть.
Комбату дайте знать, коль где-то
Вы вновь увидите его,
Что я на «исповеди» этой
Им

не сказала
ничего.

За Литейным мостом

(ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ)

БАРРИКАДА

Лёха Кошельков принёс записку от Сотова. Тот сообщал, что Шурку берут на завод Барановского. Вот это да! Снова есть дело!

С заводом Семёнова этот, конечно, не сравнишь. Цехи приземистые, закопчённые. Грязно, да и порядок не тот. И всё-таки это завод! Всё здесь кажется Шурке знакомым, привычным.

Завод бурлит. Из Сибири, из маденького таёжного городка Бодайбо, пришли вести о зверской расправе с золотоискателями. Там, на берегах далёкой Лены, пролилась рабочая кровь. Солдаты стреляли в безоружных людей, вся вина которых заключалась лишь в том, что они хотели лучшей жизни для себя и своих детей.

В столице беспокойно. Городовые на Выборгской ходят не иначе, как парами. То и дело встречаются конные патрули.

Поздно вечером Колька ждёт Шурку у синемаатографа.

— Опять на гулянку? — увидя его, спрашивает Шурка.

— Ага, — многозначитель-

но подмигивает Колька. — Всем заводом.

Шурка делает большие глаза.

— Точно, — улыбается Колька. — Так и решили на комитете. А нам, ребятам, задание дали: обесточить цехи. Чтоб все работу бросили. По гудку. Понял?

Ещё бы Шурке не понять! Прав был, значит, Сотов: начинается...

Задолго до перерыва в неурочное время раздался гудок. Почти все бросили работу. Лишь кое-кто, недоуменно оглядываясь по сторонам, продолжал стоять у станков. Шурка кинулся к щиту и рванул рубильник на себя. Замерли трансмиссии, безжизненно повисли приводные ремни...

— Все на улицу! — закричал кто-то в распахнутые настежь двери.

На улице толпа, поколыхавшись, двинулась вперёд. Рядом с Шуркой очутился Колька:

— Сейчас к Ниточной пойдём, потом к Эриксону. А там через Литейный на Дворцовую...

У Ниточной мануфактуры к колонне присоединились работницы.

Оставалось совсем немного до Сампсониевского, когда из-

за угла выехали конные городовые.

Тонко взвизгнула какая-то работница. Передние остановились, но сзади, не понимая в чём дело, продолжали наступать.

Шурка почувствовал, как бешено заколотилось сердце. «Что делать? Ещё минута, и произойдёт что-то ужасное». С двух сторон глухие деревянные заборы. Впереди — вооружённые конники. Вспыхнет паника, и тогда...

— Ломай заборы! Разбей мостовую! — раздался зычный голос.

Все как будто этого и ждали. Толпа охнула и раздалась в стороны. Не выдержав мощного напора, подался и рухнул забор. Его мгновенно ста-

ли ломать. Вооружившись досками, поддевали и выворачивали булыжники. Шурка, обливаясь кровью, остервенело оттаскивал доски и столбы. Прошли считанные мгновенья, и переулок уже перегородила баррикада.

Послышалась отрывистая команда, и вслед за ней громкий цокот копыт. Прямо на людей мчались конные городовые. Толпа отхлынула за баррикаду. Вперёд протиснулись мужчины. У всех в руках были камни. Целый град булыжников встретил городских. Схватка была ожесточённой, но короткой. Камни кончились, а спешившиеся городовые растащили остатки забора. В образовавшийся проход ринулись конные. Они преследова-



ли бегущих, нагайками беспощадно хлестали всех, кто попадался под руку.

Отбежав в сторону, Шурка подпрыгнул и ухватился за край забора. Подтянулся. И вдруг дикая боль обожгла плечо. Невероятным усилием Шурка перебросил тело через забор. Свалился в кучу какого-то лома, ушибся. Но всё было пустяком по сравнению с болью в плече. Кое-как пустирями добрался он до дому.

Ночью Шурка проснулся от света, который падал прямо в глаза. У постели стоял городской.

— Этот, что ли? — спрашивал он.

Из-за плеча городского высунулся дворник, кивнул.

Мать помогла Шурке натянуть пиджак. Вышли в переулок. Там ожидала пролётка.

— Ты не волнуйся, мам, — дрожа говорил Шурка. — Отпустят.

— Иди, иди, — подтолкнул его в спину городской.

В КАМЕРЕ

Едва Шурка переступил порог, как из глубины камеры раздался весёлый и странно знакомый голос:

— Здравóво, дружище! Откуда?

— С Выборгской...

— С Выборгской? Значит, ещё земляк. Нас здесь много...

В камере было сумрачно. Народу набили в неё битком, и только сейчас Шурка присмотрелся к тому, кто с ним разговаривал. Но сразу узнать было трудно.

— Шурка! Вот здóрово! — К нему протискивался Колька Дерябин. — И ты здесь?

— А ты?

— Ещё вчера привезли. Меня у завода забрали. И Фимка здесь. Только плох он. Лежит на нарах. Казак его шашкой по голове стукнул. Хорошо ещё — плашмя.

— А кто это со мной заговорил? — спросил Шурка.

— Не узнал? Он у нас на заводе ещё выступал. Помнишь токаря с «Айваза»? Ну вот. Он. Калинин по фамилии. Староста он тут у нас.

...И потекли тюремные дни. Сказали бы Шурке раньше, что к камере можно привыкнуть, никогда не поверил бы. Оказывается, можно. Даже к такой, в какую они попали.

Была она совсем крохотной. Обычно в ней помещали, наверное, человек шесть. А сейчас набили тридцать шесть. Как сельдей в бочку. Всем вместе лечь нельзя, — негде.

Заняться в камере нечем. На прогулки не выводят. Только в баню, да и то очень редко. Кормят плохо. В обед похлёбка с кислой капустой и каша-размазня. Утром — кипяток. Вечером — кипяток или тоже суп.

С апреля по июль просидел Шурка в камере. Не то что заболеть, помереть здесь было легко — от грязи, от вони, от тоски, от безделья.

Более или менее сносно делал тюремную жизнь староста. Порядки в камере он завёл строгие. Утром все, кто был здоров, делали зарядку. По-

том обтирались холодной водой.

Большинство в камере составляли рабочие парни. Калинин был значительно старше их. Но слушались его не только из уважения к возрасту. Дня в камере не проходило без спора. — Какой-то мужчина средних лет, в помятом костюме, многообещающе подмигнув своим соседям, обращаясь к Калинин, вкрадчиво говорил:

— Так кто же всё-таки, милостивый государь, составит, по-вашему, политическую силу, которую ждёт великая миссия освобождения России от тирании?

Калинин не отвечал, продолжая сосредоточенно делать приседания.

— Молчите... Не знаете... — удовлетворённо хмыкал помятый.

— Почему не знаю, — выпрямлялся Калинин. — Это вы не знаете. А мы, большевики, отлично знаем. Рабочие, конечно. Вот эти юные пролетарии, с которыми вам выпала честь сидеть в одной камере.

— Эти сопляки?! — взрывался помятый. — Они — политическая сила?! Ну, знаете... Это слепота, хуже того — безумие... Сегодня они с нами, а завтра с кем пойдут?

«Сопляки» в споры не ввязывались. Куда им соваться? Но слушали внимательно. То, что говорил помятый и вся его меньшевистская компания, настораживало, порой оскорбляло. Пусть они не всё ещё понимают, не во всём разби-

раются, но уж своему рабочему делу никогда не изменят. Врёт этот задиристый! А староста говорит верно.

Тут ещё подоспели события.

На рассвете первого мая задул с залива ветер, погнал тёмные тучи, и они поползли со всех сторон, закрывая небо, укутывая город с головой.

В камерах нечем было дышать. Когда утром к ним заглянул пристав, староста потребовал, чтобы заключённым дали возможность выйти хотя бы в коридор. Пристав снял фуражку, вытер платком мгновенно покрывшуюся испариной лысину и... согласился.

Звякнули ключи, открылись двери. Почти триста заключённых выскочили в длинный коридор. По одну сторону его были двери камер, по другую — распахнутые настежь решётчатые окна, выходившие на Невский проспект. Пахнуло живительной влагой: на улице лил дождь. У окон стало тесно. Каждому не терпелось взглянуть, что делается там, на воле.

А там, за стенами тюрьмы, выпал, выпал на улицы рабочий Петербург.

— Товарищи! — громко сказал Калинин. — Сегодня наш пролетарский праздник. Давайте отметим его по-нашему, по-рабочему — маёвкой!

Сначала все оцепенели. Потом загудели. Такая дерзость показалась невероятной. Маёвка, и где? В самом центре Петербурга! И мало этого — в тюрьме полицейской части!..

А Калинин уже вышел на



лестничную площадку и заговорил громко и внятно. Его было слышно даже на первом этаже.

По лестнице забегали надзиратели. Несколько человек кинулось к старосте. Заключённые заслонили его. И Калинин продолжал говорить о тяжкой рабочей доле, о пролетарской солидарности, о неминуемом возмездии, которое ждёт тиранов.

Видя, что к оратору не пробиться, полицейские стали загонять заключённых в камеры.

— Товарищи! — гремел над сводами тюрьмы голос старосты. — Беритесь за руки! Держитесь за перила!

На пути надзирателей выросла живая стена. С ней ничего нельзя было сделать. Крепко обхватив друг друга руками, заполнив коридоры и

лестничные проходы, бурлило и кипело гневное людское море.

А потом в задних рядах возникла и мгновенно взметнулась ввысь боевая знакомая песня:

Смело, товарищи, в ногу!..

Пела вся тюрьма. Пели заключённые. Пел староста. Пел Шурка. Пели те, кто не знал слов, кто никогда в своей жизни не пел:

Духом окрепнем в борьбе!..

Из окон песня вырвалась на простор Невского. На тротуарах, вслушиваясь в слова, стали останавливаться прохожие. Остановились извозчики.

Бесновались надзиратели. К участку срочно вызвали конных городских. А песня гремела.

Ей были нипочём плети и шашки, решётки и запоры.

Только когда умолкла песня, Калинин крикнул протяжно:

— По камер-р-рам!

И понял Шурка, что бывают праздники без накрытого стола, без выпивки, без танцев и музыки. Ничего этого нет, и радоваться особо нечему, а душа ликует, поёт!.. И кажется, кликни сейчас Михаил Иванович Калинин — голыми руками своротят они каменные стены и пойдут, куда он позовёт...

Неудержимо потянуло на волю...

Первым выпустили Фимку.

— Административно высланный Ефим Васильевич Калачёв, — дурачась от радости, представился он товарищам, прежде чем уйти из камеры. — С пятьдесят двумя пунктами.

Что это за пункты, Шурка не успел у него выпросить. Узнал только, когда ему самому вручили эти самые пятьдесят два пункта, перечислявшие места, где административно высланному А. А. Бакушеву запрещалось проживать.

— Не тужи, земляк, — положил Шурке на плечо руку Калинин. — С этими пунктами жить вполне можно. И на старуху бывает проруха. Так и с полицией. Подумай только: Удельная, Озерки, Шувалово — до Питера рукой подать, а в пунктах не указаны. Ясно? Значит, живём?

— Живём, Михаил Иванович. Спасибо вам за всё.

— На спасибо не проживёшь. Работать тебе надо. Я

уже с волей связался: всех обещали устроить. Поезжай в Сестрорецк, на Оружейный. Найди там дядю Мишу. Потапов его фамилия. И передай ему эту записку. Только ему, лично. Ну, бывай здоров!

...Шагая на Выборгскую, Шурка не удержался и развернул небольшой клочок бумажки. На нём было написано: «Миша, устрой Александра на работу. Он наш товарищ». И всё. Без подписи.

СЕСТРОРЕЦК

Если бы Шурку спросили, сможет ли он на полном ходу прыгнуть с поезда, он бы честно ответил, что нет. Страшно ведь.

И не прыгнул бы ни за что! Вот только, если бы не партийное поручение. Самое первое партийное поручение...

...Где к нему прицепился «хвост», Шурка и не заметил. Весь день пробегал по адресам, что дал дядя Миша. Думал, успеет ещё на минутку домой заглянуть, да где там!.. Присесть-то только в вагоне сумел. Вытянул деревянные, непослушные ноги. В тёмном стекле вагона увидел свои красные, распухшие от мороза уши.

Проплыли в окне огни вокзала. Застучали колёса. Шурка поднял воротник, спрятал руки в рукава, подумал: «Дядя Миша волнуется там. А для меня в Питер махнуть да обратно — пара пустяков. Теперь, наверное, часто будут посылать. Во второй-то раз справлюсь ещё быстрее!»

Откуда-то вдруг потянуло холодком. Шурка оглянулся. В дверях вагона стоял маленький чёрный человек. Наверное, он казался таким потому, что на его лицо падала тень от шляпы. Видны были только чёрные, словно наклеенные, усики. Человек пристально смотрел на Шурку.

«А пускай смотрит, раз ему делать нечего, — подумал Шурка. — Надоест смотреть и уйдёт».



годня видел? У кассы! Точно, у кассы! Значит, просто попутчик». — Шурка немного успокоился.

Человек упорно стоял в дверях.

Шурка забрал свой чемодан и нехотя поднялся. «Чёрт с ним, перейду в другой вагон». Не оглядываясь, двинулся, к противоположной двери.

Но человек не уходил. Он продолжал стоять на пороге, не входя в вагон.

«И чего он холод напускает? — Шурка вытащил из рукавов руки и плотнее закутался в воротник. — Где-я его се-

В другом вагоне тоже было пусто. Шурка сел. И вдруг сзади снова потянуло холодком.

Снова в дверях стоял человек. Теперь уже сомнений не было: «хвост». Сразу вспотели ладони, стали до противного

липкими. Шурка схватил чемодан. Выскочил на площадку. Рванул наружную дверь вагона.

Снежный вихрь ударил в лицо. Сотни снежных иголочек сразу впились в щёки, в ресницы.

Шурка взглянул вниз. Ступеньки вагона проваливались куда-то в темноту. «Тук-тук... Тук-тук...» — бешено стучали колёса. Поезд шёл полным ходом, освещая замёрзшими окнами узкую полосу снега где-то внизу у колёс.

Рука сама схватилась за обледенелый поручень, нога нащупала в темноте ступеньку. Ещё ступенька... Ещё... Последняя.

Мелькнул столб.

«До следующего доеду, и тогда...»

Где-то в вагоне послышалось хлопанье двери...

«Ну!» — крикнул сам себе Шурка.

Стремительно надвинулась белая стена. Резкий удар сбил Шурку с ног. Чудовищная сила с размаху швырнула его грудью в колючий снег и несколько раз перевернула. Рыхлый снег забил рот, уши, глаза.

Не продохнуть!

Шурка боялся пошевеливаться.

«Ноги-то целы?»

Потихоньку подтянул их к себе. Они слушались. Целы!

Он повертел головой и выплюнул снег. Потом перевернулся на спину.

Кругом было тихо и темно. Только где-то далеко-далеко

сыпал в ночь искры убегающий паровоз...

На улицах уже появились первые прохожие, когда Шурка постучал в окно дяди Миши. Долго не открывали. Наконец послышались шаги, и хриплый голос дяди Миши спросил из-за двери:

— Кто там?

— Открой, дядя Миша, это я.

Загремела задвижка.

— Шурка?! Где тебя черти носили?

«ОН НАШ ТОВАРИЩ»

Через неделю дядя Миша остановил Шурку у калитки:

— Подожди, Александр. Есть решение принимать тебя в партию.

— В партию? — Шурка даже задохнулся немножко от неожиданности.

— В субботу собрание. Придешь в библиотеку, спросишь меня. Ясно?

Шурка вдруг рванулся к дяде Мише и боднул его в плечо.

— Тише ты, сумасшедший!

— А вы, вы... не раздумаете? В эту субботу? А кто будет принимать?

— Увидишь.

...Смена в субботу, казалось, никогда не кончится. После гудка Шурка выскочил с завода одним из первых.

Жена дяди Миши Клаша разогрела обед. Обжигаясь, Шурка глотал куски, не разбирая, что он ест.

— Мне бы уют развести, — попросил он.

— Аль собрался куда? — засуетилась Клаша. — И то!



Дело молодое, только погулять! Неси штаны-то, поглажу.

ШУРКА вошёл и остановился у порога. За длинным столом задней комнаты библиотеки, среди сложенных стопками книг, сидели пятеро. Дядя Миша Потапов, Николай Александрович Емельянов, который работал у соседнего станка, какой-то молодой паренёк, которого Шурка видел только однажды в цехе, и двое совсем неизвестных.

— Давай заходи, садись! — пробасил дядя Миша. — Зна-

комьтесь. Это Александр Бакушев.

Дядя Миша достал из кармана какую-то бумажку и положил её на стол. Все по очереди читали, передавая один другому. Когда бумажка дошла до Шурки, он узнал записку: «Миша, устрой Александра на работу. Он наш товарищ».

Шурка почему-то оробел.

— Ну говори, Александр, что и как? — Дядя Миша строго посмотрел на него. — Выкладывай всё, как на духу. Откуда ты, чей, чего думаешь, чем дышишь?

— Бакушев я. — Шурка облизнул сухие губы. — Александр Александрович, из Питера... Административно-высланный. Дышу воздухом.

За столом засмеялись.

— Где работал?

— Много уже где. Сначала у Зейгфарта, потом у Семёнова, Барановского. Только выгоняли отовсюду.

— За что выгоняли?

Шурка начал рассказывать всю жизнь по порядку. Слушали внимательно. Только, когда до листовок дошёл, Емельянов спросил:

— А страшно было с поездом прыгать?

— Страшно, — признался Шурка. — Очень страшно.

— Молодец, — кивнул Емельянов. — Я думаю, всё ясно. Есть ещё вопросы?

— А какие могут быть ещё вопросы. Свой парень, — хрипло сказал худой, с завязанным горлом. — В записке всё сказано: «Он наш товарищ».

— Правильно, — сказал дядя Миша. — Кто «за»?

Все пятеро подняли руки.

— Вот так! — поднялся дядя Миша. — Запомни теперь, Александр: число ныне — пятнадцатое ноября 1912 года. С этого числа ты член Российской социал-демократической рабочей партии. Понял?

— Как, уже?.. — Шурка



А. Булышкин (с гитарой) на маёвке. 1912 год.

посмотрел на сидевших. — Дядь Миша, а я ведь чуть не забыл. Сегодня-то день рождения у меня!

— Видишь, — улыбнулся Емельянов. — Вроде ты и впрямь родился. Поздравляю. Лихо подгадали!

И все сидевшие за столом пожали Шурке руку. Жали крепко, как равному. И Шурке казалось в этот миг, что никакие они не незнакомые, а самые что ни на есть родные. И вот сейчас они взяли его в свою семью. И он не по конспиративным причинам, а на самом деле племянник дяди Миши. Только не Потапов, а Бакушев он.

— Что делать-то мне скажите? — Голос Шурки задрожал. — Я всё, что надо, сделаю!

— Надо будет, так и сделаешь, — спокойно произнёс Емельянов.

(Окончание следует).

КРОНШТАДТЦЫ

Мы знаем —
он рядом,
незримый,
но близкий,
одетый
тяжёлой бронёю
фортов.
Навек окрыляющий
словом
«балтийский»
рождённую в буре
семью моряков.
Кронштадт, —
это имя
как залп
прозвучало.

И гул
над землёю разнёсся
суров,
когда по тревоге
снимались
с причалов
литые громады
его крейсеров.
И в даль,
где сливаются
краски заката,
над стаями
в воду
ныряющих птиц,
над морем,



над строгим покроем
бушлатов,
смотрело упрямое
мужество лиц.
Кронштадтцы!
Кто в мире не знает
теперь их.
В матросские руки
винтовки беря,
под ленинским
стягом
шагала на берег
ударная сила
боёв Октября.

И вечно
стоит он
живым монументом,
балтиец,
не знавший
дороги другой, —
скрестив на груди
пулемётные ленты
и маузер флотский
держа под рукой.
И он —
в сорок первом,
в блокадную пору,
в кровавой
тельняшке
моряк на снегу...
Гремел
несмолкаемым
залпом

«Авроры»
кронштадтский
победный огонь
по врагу.
И ночью, и днём,
и с погодой любую,
идут они рядом
в свершениях дел.
На Балтике
остров,
укрытый бронёю,
и северный город —
моряк-корабел.



ОКТЯБРЬ В ИЮНЕ

Это было сорок лет назад.

В одну из белых ночей тысяча девятьсот двадцать седьмого года в Ленинграде творилось нечто необыкновенное. Едва лишь ненадолго стемнело, над Петропавловской крепостью вспыхнули красный фонарь — сигнал восстания. За бывшим Николаевским мостом прогремел оружейный выстрел

«Авроры». А вслед за ним начался штурм Зимнего дворца, где укрылось Временное правительство.

— Извините, но вы ошибаетесь, — поправят меня. — Все знают, что Зимний брали не в двадцать седьмом, а в семнадцатом году. И вовсе не в июне, а в октябре, потому и революция называется Октябрьской. Зачем же рассказывать небылицы?

Однако всё было именно так. Свидетелями тому оказались десятки тысяч ленинградцев, плотной стеной обступивших Дворцовую площадь. Зрители заняли места ещё днем: кто в окнах домов на Мойке, кто на решётке и даже на дверях сада у Адмиралтейства. Самые предприимчивые забрались на купол Исаакиевского собора и глядели оттуда в бинокли. Все нетерпеливо ждали, когда же начнется грандиозная ночная киносъемка.



А на площади спешно завершалась подготовка. Перед воротами Зимнего, там, где теперь стоит праздничная трибуна, складывали деревянную баррикаду для защитников дворца. Связные носились из конца в конец на мотоциклах, развозя колоннам «штурмующих» режиссерские приказы.

Но чуть ли не самыми главными были... пожарные. За неимением естественного дождя они щедро поливали из брандспойтов булыжную мостовую. Всюду блестели лужи, как и полагается в октябре. Можно было бы, конечно, отложить съемку до настоящих осенних ливней. Но тогда картина не вышла бы в срок. А ведь это была особенная картина, юбилейная кинопоэма о «десяти днях, которые потрясли мир».

Поставить фильм «Октябрь» поручили режиссеру Сергею Эйзенштейну. Он со своими неразлучными помощниками — Григорием Александровым, Эдуардом Тиссе и Максимом Штраухом — уже создал прославившуюся к тому времени по всему свету картину «Броненосец „Потёмкин“».

Но теперь перед ними встала не менее величественная, исключительно сложная задача: показать в черно-белой, немой, односерийной ленте, как в феврале свергли

царя, как вернулся в Россию Ленин, как народ пошёл за ним в «последний, решительный» бой с угнетателями.

И всё это, до самых мельчайших подробностей, нужно было изобразить так, чтобы участники исторических событий, снова увидев их на экране, могли бы сказать:

— Да, это правда! Подлинная, чистейшая правда, без прикрас и выдумок! Всё — настоящее, живое, будто снятое не десять лет спустя, а тогда — в семнадцатом!

Трудно было бы заслужить такую оценку, не появившись у Эйзенштейна ещё один незаменимый помощник — товарищ Подвойский.

Именно ему — организатору питерской Красной гвардии, члену Военно-революционного комитета — Ленин в семнадцатом году доверил руководство штурмом Зимнего.

Как никто другой, Николай Ильич знал лично всех его участников, помнил, где располагались боевые отряды рабочих, солдат и матросов. А теперь, по заданию всесоюзного старосты — Михаила Ивановича Калинина, он стал как бы комиссаром группы кинороботников.

Подвойский собрал своих боевых соратников и сказал им:

— У нас в Ленинграде начато дело, которое имеет большое значение для развития революционного движения в других странах и для воспитания будущих поколений. Создаётся кинокартина об Октябрьском перевороте. Но все описания и даже фотографии того времени весьма слабо отражают исторические события. И только вы, их живые, непосредственные участники, можете уточнить, как всё было в действительности.

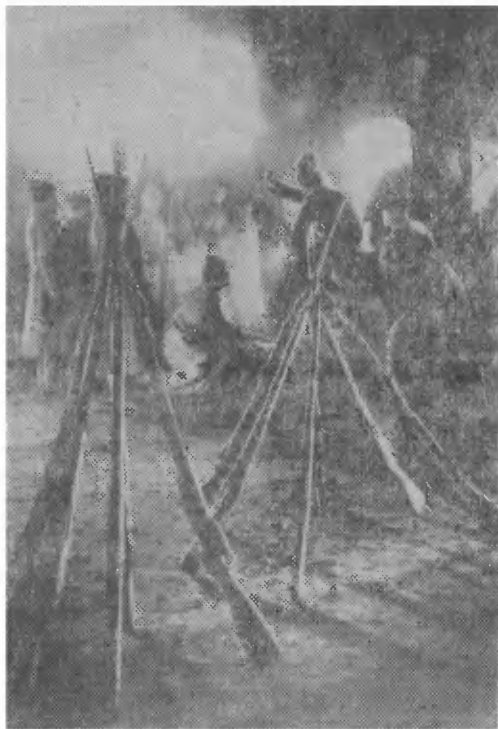
Ветераны революции горячо откликнулись на этот призыв. Они пришли на вечера воспоминаний, организованные Подвойским по всему Ленинграду, и рассказали столько интересных фактов, что их с избытком хватило бы на десять киносценариев. А Эйзенштейн с Александровым часами расспрашивали очевидцев, едва успевая записывать все их советы и поправки.

Один из красногвардейцев подсказал, что надо бы на время съёмки заменить гербы на Зимнем. Ведь в семнадцатом году на нём ещё

красовались золотые двуглавы́е орлы. Правда, без царских корон, — их сшибли в феврале.

Другой вспомнил, под обидный смех, как он и его товарищи — рабочие, ворвавшись во дворец, обнаружили в одном из покоев... дойную корову. Её молоком, видимо,





отпаивали осаждённых министров.

А моряки поведали о подвиге балтийца Василия Купревича. Во время штурма он под вражеским огнём перелез через запертые дворцовые ворота и открыл путь наступающим бойцам.

Самого героя найти тогда не удалось. Известно было только, что краснофлотец Купревич, как и многие другие, не вернулся в Ленинград с фронтов гражданской войны. И на роль матроса, открывающего ворота, пришлось подыскать другого исполнителя.

Василий Купревич, однако, не погиб. Он стал видным учёным — президентом Академии наук родной его Белоруссии. Недавно он вспомнил в печати свое боевое прошлое:

«Меня, крестьянского сына, взяла и повела за собой она — моя советская власть. Я был матросом революционного

Балтфлота, участвовал во взятии Зимнего дворца. Счастлив безмерно тем, что довелось тогда проверить на практике ленинскую науку побеждать...»

Но как воссоздать образ самого создателя этой науки? Можно ли вообще показать Ленина в кино или на сцене? Многие в то время считали эту задачу невыполнимой. И всё-таки её надо было решить. Без Ленина не было бы Октября, а без его изображения — картины об Октябре.

Подбором актёров ведал Максим Штраух. Он неустанно разыскивал среди населения типичных «агитаторов», «соглашателей», «фронтвиков» и «министров». Желающих сниматься бойцами Октября было хоть отбавляй. Но мало кто хотел бы играть «отрицательные роли» — контрреволюционных юнкеров или горе-воjak из женского «батальона смерти».

Впрочем, игры от них и не требовалось. Приглашённые на съёмку не были актёрами. Просто их типаж, то есть внешний облик, соответствовал требованиям режиссёра.

Но есть ли на свете человек, хотя бы внешне похожий на Ленина? Сотни кандидатов были отвергнуты, прежде чем отыскался его двойник — Василий Никандров. Он обладал, как признали все, близко знавшие Ленина, изумительным сходством с Владимиром Ильичём. При монтаже кадры с участием Никан-



дрова нельзя было отличить от документальных. Так простой уральский рабочий впервые воплотил на экране облик «самого человеческого человека», провозгласившего: «Да здравствует социалистическая революция!»

Ленинград, где она свершилась, жил в те дни ожиданием «второго штурма Зимнего», как все называли предстоящую киносъёмку. Газеты сообщали:

«В ночь на понедельник, 13 июня, в нашем городе произойдет потрясающее событие...»

«Площадь у Зимнего дворца будет залита светом, для чего переключается ряд подстанций Волховстроя. Общая сила светового потока — два миллиона свечей!..»

«В съёмке примут участие несколько тысяч человек. В том числе значительное количество рабочих фабрик и заводов Ленинграда. А также красноармейские части и студенческая молодежь!..»

«Отрядами будут руководить начальники боевых участков товарищи Степанов, Соколов, Потычкин и другие участники Октябрьского штурма!..»

«Командный пункт режиссёра Эйзенштейна размещён под бронзовыми конями на арке Главного штаба. Оттуда будет дан сигнал атаки!..»

А вокруг площади всё теснее смыкалось кольцо «осаждающих». На углу Невского и улицы Герцена, у Певческого моста, возле Адмиралтейства и Эрмитажа, дымились походные костры. Пламя озаряло суровые лица красногвардейцев в кожаных куртках, обросших бородами солдат-фронтвиков и опоясанных патронными лентами балтийских матросов. Конные патрули проверяли у прохожих документы. Посторонним вход на площадь был запрещён.

Всё было готово. И только июньская белая ночь задерживала начало съёмки. Но вот наконец стемнело, объективы нацелились вниз на ещё безлюдное «поле боя».

— Приготовиться!.. — заревел в напряжённой тишине режиссёрский рупор. — Включайте прожектора!..

На крышах зданий, окаймляющих площадь, ослепительно вспыхнули сто сорок электрических солнц. В ярко освещённых окнах дворца испуганно заметались тени «врагов революции».

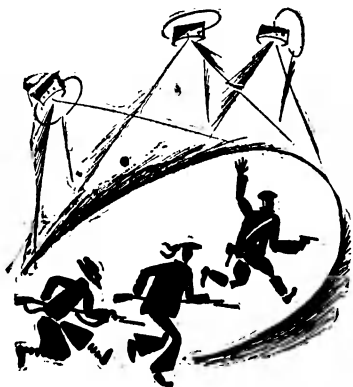
— Вперёд!..

Протяжно завывала сирена.

— Пошли-и-и!..

Под штабной аркой грянуло «ура!». Тысячи заждавшихся смельчаков хлынули на площадь. Стреляя на бегу





из винтовок, бросились к Александровской колонне.

— Тра-та-та-та... — застрекотали из-за штабелей юнкерские пулемёты. Цепи красногвардейцев на миг приостановились, будто заколебавшись. И снова ринулись на приступ.

А кинооператоры крутили ручки, снимая сверху яростный поток атакующих. Вот бойцы добежали до баррикады... Вот самые отчаянные вскарабкались на отвесную деревянную стену... Вслед за

ними к воротам обречённого дворца устремились оцетинившиеся штыками грузовики. Отмечая свой путь вспышками залпов, мчались бронемшины... Всё катилось, летело, несло в неудержимом порыве...

И казалось, что даже бронзовые кони на арке вот-вот сорвутся с места и, громыхая колесницей, помчатся сквозь голубовато-сиреневое зарево, навстречу победе!.. Но..

— Отбо-о-ой!..

Нехотя погасли прожектора. Начальники боевых участков отвели свои отряды на исходные позиции. То тут, то там поднимались «убитые» холостыми выстрелами участники массовки. Генеральная репетиция киноштурма закончилась. Вокруг снова был привычный, залечивший раны город. А на календаре — июнь тысяча девятьсот двадцать седьмого года.

Но никто не расходился по домам. Ещё три раза гремел на штабной вышке усиленный рупором голос:

— Повторить штурм! Приготовились! Внимание! Вперёд!..

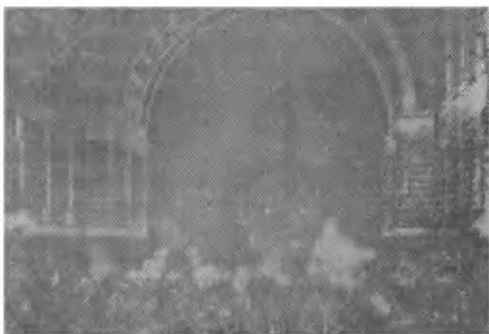
Ещё три раза по воле «главнокомандующего» Эйзенштейна площадь заливали потоки света. Три раза оглушённые пальбой птички стаи в панике метались над Зимним.

Но разве мало было одного раза? Да, мало. Ведь съёмка могла почему-либо оказаться неудачной. Все работали без отдыха, по восемнадцати часов. А зачастую не спали двое суток подряд, потому что многие съёмки «Октября» были по сценарию ночными.

Этот самоотверженный, героический труд не пропал даром. Эйзенштейн и его товарищи выполнили поставленную перед ними задачу. Они поведали правду о Великой социалистической революции людям других стран и поколений.

Прошли десятки лет, но картина не устарела. Режиссёр Григорий Александров, ближайший друг и соратник Эйзенштейна, восстанавливает «Октябрь». К пятидесятилетию советской власти кинолетопись восстания повторно выходит на экран.

И главным эпизодом в ней будет штурм Зимнего, о съёмке которого я — его очевидец — вам сейчас рассказал.



Баллада о бессмертии



Если верить
Буквам этим,
Если верить
Цифрам этим,
То погиб он
В сорок третьем,
То погиб он
В сорок третьем.
Как не верить
Буквам этим?
Как не верить
Цифрам этим?
Был он схвачен
На рассвете
В сорок третьем,
В сорок третьем.
Был он схвачен
И опознан.
Отпираться —
Слишком поздно.
Офицер спросил
С улыбкой:

— Ты есть русский
Партизан?
— Есть! —
Сказал в ответ
Мальчишка.
— Партизан! —
Сказал мальчишка,
Гневно выстрелив
Глазами
По смеющимся
Глазам.
Вмиг растаяла
Улыбка.

— Нет! —
В ответ сказал
Мальчишка.
— Ни за что! —
Сказал мальчишка,
А потом
расхохотался:
— Ни за что и
никогда!

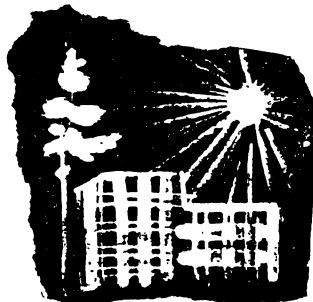
Целый день
Его пытали.
К ночи... к ночи —
Расстреляли.
Партизана
Расстреляли
Здесь, у этого
Пруда.



Но живёт,
Живёт мальчишка,
Став легендой,
Песней, книжкой,
Улицей
В посёлке нашем,
Нашей школой.

И сейчас —
Я не верю
Буквам этим,
Я не верю
Цифрам этим:
Не погиб он
В сорок третьем, —
Жив мальчишка
Среди нас!

— Ты не сделаешь
Ошибка.
Ты — хороший
Русский мальчишка
И, конечно,
Хочешь жить.
Ты расскажешь
Нам немного,
В лес покажешь
Нам дорога,
И за это
Ты — свободен:
Можешь к мамке
Уходить!





Тыжкины Крылья

П О В Е С Т Ь

ЧАСТЬ I

Быть или не быть?

Из стены над моим носом торчал гвоздь. Каждое утро, просыпаясь, я прежде всего видел этот дурацкий гвоздь. Его нужно было заколотить или вытащить. Но у меня всё как-то не хватало времени, чтобы его заколотить или вытащить.

Я проснулся, посмотрел на гвоздь, вскочил с дивана и стал бить мух.

Феня вышивала для Дома офицеров портрет лейтенанта Грома.

Мама жарила лещей. Ночью перед полётами отец наловил лещей, и мама с утра жарила их и парила. Из кухни несло рыбьим чадом.

Над островом грохотали самолёты. В распахнутое окно виднелась вдалеке река. За рекой в сиреновом мареве дрожал обрывистый берег с трубами комбината имени Калинина.

Тюлевая занавеска зацепилась за любимый мамин кактус на подоконнике. Кактус торчал в гор-



шке между трёх маленьких кактусят. На прозрачном си-нем кувшине, который завое-вал на лыжных соревнованиях папа, нервно позвякивала стек-лянная крышка.

Феня вышивала цветными нитками. Этих ниток у нее бы-ла целая наволочка.

Герой Советского Союза лейтенант Гром погиб два го-да назад. С его самолётом что-то случилось, и он стал падать прямо на Калининский по-сёлок. Гром приказал штурма-ну и стрелку-радисту прыгать, а сам перетянул за посёлок и разбился вместе с машиной. Эскадрилья, в которой он ле-тал, теперь называется Гро-мовской.

Парашютная резинка была тугая. Я прицелился в муху. Муха сидела на Фенином зеркале и любовалась своим отражением. Передними лапа-ми она старательно тёрла шею. Голова у мухи болталась из стороны в сторону.

Наша Феня тоже может ча-сами любоваться в зеркало. Феня любит рассматривать, какая она красивая. Вообще-то она и вправду красивая. У неё длинные белые, словно седые, волосы, большущие ка-рие глаза с лохматыми ресни-цами и такая тонкая талия, что того и гляди наша Феня пере-ломится на две половинки. В городе на Феню оглядывает-ся каждый мужчина. С ней прямо неприлично ездить в го-род, с нашей Феней.

Я прицелился в муху и отпу-стил конец резинки. Муха бро-сила тереть шею, покружилась

вокруг люстры и улетела на кухню.

Я подпрыгнул, нырнул голо-вой в свой старый просижен-ный диван, на котором сбились в кучу простыни с одеялом, и сделал отличный кульбит. По-том я одной рукой выжал за ножку стул. Стул вывернулся из кулака и трахнулся рядом с Феней. Я поставил стул нож-кой на лоб. Стул трахнулся снова.

— Ну и остолоп же ты, — вздохнула Феня.

Я поставил на макушку кув-шин с водой. Кувшин не трах-нулся: я успел его поймать. От страха, что я его мог не поймать, у меня задёргался на спине под лопаткой мускул. Мускул у меня всегда дёргает-ся, если что. Он у меня вроде сигнала тревоги. Я прижал кувшин к груди и поцеловал его в длинную скользкую пу-почку на крышке. От греха подальше я поставил кувшин под окно у стены. После этого я кувырнулся через голову и скатился с дивана на пол.

Раскинув руки, я смотрел в потолок и соображал, чем бы ещё заняться до завтрака.

Заняться было решительно нечем.

Потолок казался маленьким. Мне подумалось, что если дом перевернуть вверх тормашка-ми, то на потолке ни за что не уместится столько вещей, сколько затиснуто в нашу ком-нату. Я пробежал глазами по комнате и остановился на Фе-ниной кровати.

До кровати я добрался на четвереньках. В затрёпанной

книжке, которая лежала под Фениной подушкой, не хватало двадцати страниц. Но книжка была, как всегда, про любовь. Двадцать первая страница начиналась так:

«— Матушка, — воскликнула сестра Тереза по-испански, — я солгала вам, это мой любовник!»

Про любовь я любил. Я поджал под себя ноги, поудобней устроился на половике и принялся за чтение. Разговор шёл про какого-то ошеломлённого генерала, который влюбился в монахиню Терезу и решил её похитить.

Похитил он монахиню или нет, я дочитать не успел. Я перелистнул замусоленную страницу, и из книги выскользнула фотография лейтенанта Барханова. Вот это находочка! Руслан Барханов — самый лихой лётчик в нашем полку. И самый весёлый. На стене в его комнате висит мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом. Он играет на аккордеоне и всегда улыбается. На фотокарточке он улыбался тоже. А на обороте было написано: «Фене от Руслана. Не вспоминай, когда согласишься, а когда согласишься, посмотри».

Чаше всех в нашем доме вспоминает Руслана отец. Стоит Фене задержаться на работе в санчасти или на танцах в Доме офицеров, как отец начинает ворчать.

— Индюк голубоглазый, — ворчит он, — И чего девке голову морочит? А наша-то дура! Тьфу! Куда смотрит толь-

ко? Ведь ему не в морской авиации служить, а в цирке кривляться. Ишь ножкой шаркать научился да духами брызгаться!

Отец шлёпает босиком по комнате и во всём обвиняет мать. Но мама только вздыхает и молчит. Она у нас всегда молчит. И потом, ей Руслан нравится. Я знаю.

Мне тоже Руслан нравится. Феня не дура. В такого, конечно, можно влюбиться. Гордый, смелый, красивый. И всегда такой отутюженный и блестящий, словно перед банкетом. И одеколоном «Шипр» от него всегда пахнет. Я, когда начну бриться, тоже буду покупать только «Шипр».

Вытянув в сторону руку с бархановской фотокарточкой, я с чувством продекламировал:

— «Не вспоминай, когда согласишься, а когда согласишься, посмотри!» Классика! «Фене от Руслана». Как, значит, теперь отец вспомнит твоего Руслана, так я ему сразу карточку на стол. Пусть смотрит, раз вспомнил.

Феня оглянулась и вспыхнула:

— Как тебе не стыдно, Тимка! Сейчас же положи на место!

— У-у! — прогудел я, воздев к потолку руку. — Батюшка, я солгала вам, это мой любовник!

— Тимка! Нахал!

Феня гонялась за мной вокруг стола. Я швырял сестре под ноги стулья и потрясал в воздухе фотографией. От фотографии пахло «Шипром».

— Ошеломлённый старшина шлёпнулся в обморок! — вопил я. — Старшина понял, что его дочь скоро похитят!

Под «ошеломлённым старшиной» я имел в виду отца. Наш отец — старшина минно-торпедной службы.

— Тимка, отдай, бесовестный! — кричала Феня.

Она придвинула стол к комоду. Я шмыгнул под стол. Феня прижала меня на полу у дивана и зашипела:

— Вот изомни только карточку, изомни!

Мне не хотелось мять Руслана Барханова.

— Да забирай ты его пожалуйста, — хмыкнул я. — Чего ты.

— Дурак, — сказала Феня, пряча Барханова в сумочку. — Погоди, я тебе это припомню.

Щёки у Фени пылали ярче клубка красных ниток, который, пока мы возились, закатился под шкаф. Когда Феня краснеет, то становится ещё красивее. Она встала на колени и шарила под шкафом кочергой.

Я воткнулся головой в диван, сделал стойку и сказал вверх ногами:

— Индюк голубоглазый твой Руслан, вот он кто. Ему не в авиации служить, а в цирке кривляться. Ишь ножкой шаркать научился. Подумаешь!

— Перестань, Тимка, противно, — поморщилась Феня.

Она скребла кочергой под шкафом и никак не могла отыскать свои нитки.

— Ах, тебе отцовы слова

противны? — зловеще спросил я, соскальзывая по стене на диван. — Отцовы слова, да?

— Да отвяжись ты ради бога, — простонала под шкафом Феня. — Я тебя по-хорошему прошу.

По-моему, она собиралась заплакать.

Я вздохнул, и отвязался. Если человек «с приветом» и совсем не понимает шуток, то с ним лучше не связываться. А влюблённые, они больше других «с приветом». Это давно известно.

В комнате творился кавардак. Половики сбились. Со стола сползла скатерть. Кругом валялись стулья. А из-под шкафа в клочьях пыли выплыли раздавленный спичечный коробок, шахматный конь, который затерялся ещё зимой, и невесть откуда взявшаяся кирпичного цвета резиновая клизма.

— У, вещь! — сказал я и пыхнул из клизмы в кучу пыли.

— Совсем обалдел, — удивилась Феня, отмахиваясь от оседающих серых хлопьев.

Клизма мне могла пригодиться. На всякий случай я засунул её в карман.

Из кухни заглянула мама.

— Что же это такое? — вздохнула она. — Ты, Феня, совсем как маленькая. Ну посмотрите, что у вас делается в комнате.

Меня мама попросила:

— Слазай, пожалуйста, в погреб, сынок. Мне картошки нужно.

Ход к нам в погреб прямо из

комнаты, рядом с сундуком. Я взял фонарик и ведро, потянул за кольцо, ввёрнутое в тяжёлую квадратную крышку, и полез за картошкой.

Наполнив ведро, я поднял его к люку и крикнул Фене:

— Держи давай, монахиня!

Феня вытащила картошку и сказала:

— А ты остудись немного, балаболка.

Я не успел опомниться, как крышка захлопнулась.

— Фе! — заорал я. — Эй!

В подвале пахло землёй, плесенью и квашеной капустой. Я дубасил кулаком в люк и вопил. На меня сыпалась труха.

— Фе! — вопил я. — Ты чего вообще?

Я нажал на крышку спиной. Крышка не поддавалась. Я догадался, что моя милая сестричка придавила её сундуком. Мне стало обидно. Я ей таскаю письма от Руслана, а она придавливает меня сундуками. Тут кому хочешь станет обидно.

В погребе не доносилось ни звука. Тишина стояла, как в могиле. Даже самолётов не было слышно.

— Вот скажу взаправду отцу про карточку, он тебе тогда покажет «не вспоминай, когда посмотришь», — буркнул я, усаживаясь на перевёрнутую кадушку.

Мне было не знаю как обидно. Я ведь не отцову сторону держу. Записочки Фене таскаю. Не за патроны же я их, действительно, таскаю. Я ни разу ещё и не выстрелил из

Руслановой мелкокалиберки. Хотя он сам наобещал мне за каждое письмо, доставленное от него к Фене, — один выстрел из винтовки, а за каждое письмо от Фени к нему — два выстрела. За ним уже сорок семь выстрелов накопилось. Но я же ничего. Я могу таскать их записки и без всякого. Просто потому, что Руслан настоящий парень. Такого Феня никогда больше не встретит. Таскаю-таскаю, смотришь — и родственником с ним стану. Я же не отец, я — «за». И мелкокалиберка у Руслана своя собственная. Когда-нибудь да постреляем.

В погребе было прохладно. Даже очень. Свет электрического фонарика скользнул по замшелым брёвнам, по кирпичному фундаменту, по куче хлама в углу. Из кучи торчал венский стул с одной ножкой и матово поблёскивал старый алюминиевый рукомоиник. В скелете от абажура лежал прогорелый на пятке валенок и меховой шлемофон без одного уха.

И вдруг я обмер. Из картонной коробки от пылесоса, высоко подняв голову, на меня смотрела... змея.

Мне сразу сделалось жарко. Настоящую живую змею я увидел впервые. На спине у меня задёргался мускул и по телу побежали мурашки. Я застыл и уставился в змеиную морду.

Мускул на спине дёргался так, что у меня плясал в руке фонарик. Змеиная тень на стене и потолке угрожающе пока-

чивалась. Змея готовилась к прыжку.

Она готовилась так долго, что у меня занемела шея. И пересохло во рту. Наверное, змея дожидалась, когда сядет в фонаре батарейка. Чтобы расправиться со мной в темноте.

— У, гадина ползучая, — прошелестел я сухими губами. — Глиста кособокая.

А может, я и не сказал ничего этого. Только подумал. Я чувствовал, что вот-вот зареву. Я больше не мог. А лампочка в фонаре потихоньку тускнела. Со всех сторон на меня напала густая тьма. И в ней тоже шевелились змеи.

Фонарик у меня прямо краковьяк отплясывал. Я держал его в левой руке. Правой я пошарил по земле. Под руку попался кусок кирпича.

Я почти не прицеливался. Но кирпич угодил точно в коробку от пылесоса. Змея крут-

нулась в воздухе. Я съежился и зажмурил глаза.

Что-то твёрдо звякнуло о рукомойник. Я не сразу сообразил, что. Это была змея.

Ползучая гадина оказалась обыкновенным высохшим корнем. Из этих корней наш сосед, старший лейтенант Жора Перверзев, мастерит забавных зверюшек и человечков.

Как же я забыл про эти корни? Их тут в подвале целые залежи. Сколько я сам их дяде Жоре насобирав! И сам же забыл. От страха.

Я еле отдышался. Кажется, я и не дышал всё это время. А ладонь, которая сжимала фонарик, стала совсем мокрой.

— Ладно, погоди, Фенечка, — облегчённо прошептал я, погрозив кулаком чёрным неоструганным доскам над головой, — я тебе тоже что-нибудь устрою. За мной должок не заржавеет. Ты меня знаешь.

В ПОДПОЛ
дядя Жора спускался редко, хотя у него и свой люк из комнаты. Что холостяку делать в погреб? Не капусту же с картошкой держать. Его отлично и в офицерской столовой кормят. Даже шоколад дают.

А я тоже никогда не лазал к нему через погреб. Я к нему и так в любое время захожу. Через дверь. Он её никогда не запирает. Поэтому я и не сразу



вспомнил про второй люк.

По вечерам дядя Жора всё время что-нибудь выпиливает, строгаёт, клеит. В его комнате живут смешные зверюшки и человечки, сделанные из засохших корней. А макеты кораблей дядя Жора мастерит не хуже, чем в музее. В фойе Дома офицеров стоит под стеклянным чехлом остроносый эсминец с малюсенькими леерными стойками и кнехтами. Прямо



удивительно, как своими огромными ручищами дядя Жора умудряется делать такие штучки.

Дядя Жора всегда рад, когда я к нему захожу. И даже если его дома нет, я тоже захожу.

Я залез на ящик и нажал на задубевшую крышку люка в комнату к нашему соседу. Крышка поддавалась с трудом. В щель брызнул свет, и перед самым моим носом оказался заляпанный грязью большущий сапог. Под койкой виднелись меховые унты, несколько пар запылённых ботинок и потёртый фибровый чемодан.

Забравшись в комнату, я осторожно закрыл люк. В голове у меня зрел план мести своей родной сестричке. На минуту я задержался у письменного стола, превращённого в верстак. Провёл пальцем по миниатюрному токарному станочку, проверил острие стамески.

Со стены, из деревянной рамки под треснутым в уголке стеклом, строго смотрел на меня похожий на дядю Жору человек с чапаевскими усами. В петлицах у человека было по три кубика. Красивые тёмно-русые волосы волной падали ему на лоб. Так и казалось,

что сейчас он взмахнёт головой, чтобы откинуть волосы назад, как это делает дядя Жора. Только глаза у человека были не такие, как у дяди Жоры. Глаза у человека на фотографии были усталые и строгие. А так дядя Жора очень походил на своего отца. Только что не носил усов.

Я положил стамеску и махнул через окно на улицу.

Над островом совсем не по-северному полыхало солнце. У колодца со скрипучим воротом обсуждали утренние новости офицерские жёны. С грузовика таскали в магазин военторга мешки и ящики несколько солдат из караульной роты.

Вдоль пыльной улицы, в конце которой блестела под солнцем река, вились над домами дымки.

Взревел на взлёте и быстро растаял в синеве самолёт. Сколько ни смотри на самолёты, всё равно не привыкнуть к ним. К чему хочешь можно привыкнуть, а к самолётам привыкнуть нельзя.

Кто сейчас улетел? Может, Жора Переверзев. А может, Руслан Барханов со своим штурманом Сеней Колюшкиным. А может, Эдькин отец майор Хрусталёв.

Эдькин отец — командир эскадрильи. Поэтому Эдька живёт в самом большом на острове двухэтажном доме, который называется ДОСом — домом офицерского состава. И квартира у Эдьки шикарная, две комнаты на троих.

Но я к Эдьке в его шикар-

ную квартиру стараюсь не заглядывать. Эдькина мать, Вера Семёновна, закончила педагогический институт и упражняется в воспитании на Эдьке и на мне. Школы на острове нет, вот она и упражняется на нас с Эдькой. Она читает нам лекции о честности и вечно нас в чём-нибудь подозревает. И ещё она воспитывает Эдьку другими способами, более существенными. Эдька боится матери, хуже чем я начальника штаба нашего полка подполковника Серкиза.

У ДОСа Рита, жена лейтенанта Тараса Коваленко, выколачивала хоккейной клюшкой ковёр. Тарас Коваленко — тоже лётчик что надо. Недаром он дружит с Русланом Бархановым. Рита раньше работала официанткой в офицерской столовой. С Коваленко они поженились недавно, и она по привычке всё ещё встаёт за два часа до построения полка. Не то что другие жёны.

Кроме Риты, у ДОСа больше никого не было.

Я закинул голову и, вложив в рот два пальца, свистнул.

— Очумел никак, — сказала Рита, — Спят ещё люди-то.

У Риты всюду ямки — и на щеках, и на локтях, и даже на голых коленках. Она выколачивала ковер, и в волосах у неё прыгали накрученные на палочки кудряшки.

— Сколько же спать можно? — буркнул я и снова свистнул. Не хватало ещё, чтобы я топал к Эдьке в квартиру в такую рань.

Прогрохотал, взлетая, самолёт. Я посмотрел ему вслед. А Рита даже не оглянулась. Самолёты, по её мнению, спать людям не мешают. А вот если один раз свистнуть, то это всем мешает.

Из окна выглянул Эдька. Он чего-то дожёвывал. Я замахал ему рукой, чтобы он срочно сквозил вниз. Эдькина мать ещё, конечно, спала. Она начинала воспитывать сына часов с одиннадцати.

Эдька выскочил на улицу, и я рассказал ему, какую подлость устроила Феня и как я придумал ей отомстить. Эдька мой замысел одобрил.

Заметив, что мы шепчемся, Рита перестала выколачивать ковёр и, жмурясь на солнце, наострила уши. Она, наверное, с утра не подцепила ещё ни одной новости, а топать к колодцу ей не хотелось.

Рите не понравилось, что мы шепчемся. Она оперлась о хоккейную клюшку и сказала:

— Послушайте, мальчики, помогите мне на второй этаж ковёр затащить.

— Ковёр? — удивился Эдька. — Как, ковёр? А вас, слушаем, ничто не беспокоит?

— Что? — не поняла Рита.

— Или, может, вам дуется? — заботливо поинтересовался Эдька.

— Дуется немного, — растерянно подтвердила Рита. — От стены. Мы потому и ковёр купили.

— Всё ясно, — сказал Эдька. — Помылись, закройте душ.

Он тронул меня за рукав.

Мы бегом обогнули угол дома и спустились в заросшую кустами балку.

— Ну и молодёжь нынче пошла, — заворчала нам вслед Рита. — Хулиганье сплошное. А ещё отец — майор.

Эдька самодовольно улыбался. Он кого хочешь мог отбрить. А жаловаться к его родителям тоже не очень-то разбежишься. Что он такого особенного сказал? Ничего он такого не сказал. Всё совершенно культурненько, ни одного грубого словечка.

План у меня был такой. Эдька приходит и спрашивает у Фени, где я. Феня, конечно, беспокоится, что я сижу столько времени в подвале и не подаю голоса. Она полезет за мной. А Эдька захлопнет крышку и придавит её сундуком.

— Нет уж, извини-подвинься, — сказал Эдька. — Я всё подготовлю, а придавливай ты сам. Твоя сеструха, ты и придавливай.

Мы договорились, что крышку закрою я, и помчались к моему дому. Я должен был сидеть под окном, чтобы в нужный момент сигануть в комнату и захлопнуть крышку.

Мама всё ещё жарила лепёшек. Эдька прошёл через кухню и вежливо справился обо мне у Фени.

— К тебе, наверное, побежал, — не отрывая глаз от вышивки, равнодушно отозвалась Феня.

Её белые волосы падали почти к самым коленям. Во кра-

савица-раскрасавица! Я и не подозревал, что она так здоровá врать. Хоть бы смутилась чуточку.

Эдька тоже наворачивал дай боже.

Я сидел под окном и слушал, как они друг друга обхаживают.

— Он уже давно убежал, — сказала Феня таким честным голосом, что я даже сам засомневался: сидел ли я вообще в погребе или мне это только приснилось.

— В том-то и дело, что ко мне он не прибежал, — убедительно вздохнул Эдька. — Подполковник Серкиз его, понимаете, к себе требует, а его нет нигде.

— Серкиз? — удивилась Феня. — Чего это он вдруг Серкизу понадобился?

Она даже вышивку опустила. Ещё бы! До такого наглого вранья нужно было додуматься. Это было вообще сверхвраньё. Начальник штаба нашего полка почище иного генерала. Он наверняка и не подозревает, что у какого-то старшины минно-торпедной службы есть сын Тимка. Что ему какой-то Тимка? Перед ним весь остров дрожит. Его не только матросы и офицеры стороной обходят, но даже офицерские жёны. Он так выпучивает свои рачьи глаза, что от одного их взгляда можно спокойно получить инфаркт.

И чтобы подполковник Серкиз потребовал к себе меня, Тимку Грызлова, в такое могло только чокнутый поверить.

Я делал Эдьке в окно сигнала,

чтобы он не очень загибал. Но Эдька увлёкся и ничего не замечал.

Феня сказала:

— А ты передай подполковнику, что Тимофею некогда, что он занят.

Она вполне серьёзно это сказала. Словно речь шла о том, чтобы отнести соседке соли. Некогда — и всё.

Эдька красиво захлопал глазами.

— Как... некогда? — поинтересовался он. — Там же Серкиз.

— А Тимофею некогда, — сказала Феня.

— Да нет же, правда, — забормотал Эдька. — Там, понимаете, колдун за мачту замотался, и, кроме Тимки, туда не забраться никому. Вот провалиться мне на этом месте.

— Провалиться? — спросила Феня и взглянула на сундук, под которым должен был сидеть я.

— Ага, провалиться, — обрадовался Эдька. — Мне ведь что. Он сказал, я прибежал.

— А сам-то ты чего не полез?

— Хо-хо, — сказал Эдька. — Сам! Вы видели, там шест какой? Разве мне на него забраться? Да вы если не хотите, не передавайте. Мне что. Я так и скажу подполковнику.

Эдька врал так правдиво, что даже меня стало сомнение разбирать: может, действительно Серкиз? Я знал, что это чушь, а сам нервничал. Сидел под открытым окном и нервничал. Что, если и вправду меня ждёт Серкиз, а Эдька про-

сто позабыл мне сказать? Вó тогда будет!

— Отодвинь вон сундук, — сказала Феня. — И крышку открой в подпол.

— Зачем? — сделал удивлённые глаза Эдька.

— Твой дружок там загорает, — сказала Феня.

Глаза у Эдьки стали совсем квадратными:

— Там?

Он отодвинул сундук, поднял крышку, позвал меня и кисло улыбнулся.

— Разыгрываете, — улыбнулся Эдька. — Нехорошо так делать. Там полёты идут, а вы разыгрываете.

Феня, совсем как мама, вздохнула и опустилась перед люком на коленки.

— Тим, — позвала она. — Слышишь, Тимка! Хватит дурить, вылезай.

Позвав ещё немного, она попросила Эдьку:

— Спустишь, пожалуйста.

— Я? — удивился Эдька. — Зачем?

— Тащи его оттуда. Он на меня, видишь ли, обиделся. А не пойдёт, тогда я сама слажу.

Эдька стрельнул глазами на окно, за которым притаился я, и полез в погреб. И тотчас над его головой угрожающе нависла тяжёлая крышка.

— Остряки самоучки, — хмыкнула коварная Феня, — Давай, давай. Ты же провалиться хотел. Только учти, в соседней комнате я тоже люк придавлю.

Эдька осознал опасность слишком поздно. Последние

слова Феня произнесла уже над опущенной крышкой.

Я ринулся на помощь другу, Тюлевая занавеска за что-то зацепилась. Я её дёрнул. Любимый мамин кактус качнулся, подумал и рухнул с подоконника вниз. Он рухнул точнёхонько на синий графин, который завоевал на лыжных соревнованиях папа.

Я перегнулся через подоконник. В луже воды, среди синих осколков, стоял вверх доньшком глиняный горшок. В доньшке темнела круглая дырочка. Мясистый кактус откатился в сторону. Недалеко от него беспомощно замерли маленькие, величиной с грецкий орех, кактусята.

Эдька воспользовался заминкой, откинул крышку погребка и вырвался через кухню на волю.

— Хо-хо, — ошалело проговорил я и бросился вдогонку за другом.

Разбитый графин и изувеченный кактус не предвещали ничего хорошего. У отца были теперь все основания устроить мне весёлую жизнь. Он мне давно её обещает устроить. И хотя я боялся отца далеко не так, как подполковника Серкиза, всё же я его побаивался.

Очень худо жить на свете, когда всего побаиваешься. Это не то что Руслану Барханову или Тарасу Коваленко.

УТРОМ, во время полётов, безлюдно и тихо на единственной улице нашего военного городка. Лишь неумолчно режут

на аэродроме да в воздухе торпедоносцы. Мелькнёт матрос в белой форменке, направляясь на вахту, пропылит автозаправщик, прогудит на реке пароход — и снова никого.

Мы с Эдькой промчались мимо магазина с зелёной вывеской военторга, мимо колодца со скрипучим воротом и, запыхавшись, плюхнулись на лавочку у ДОСа.

— Хурды-мурды, — сказал Эдька.

Когда ему нечего сказать, он всегда говорит «хурды-мурды». Он боялся, как бы вся эта история не дошла теперь до его мамочки. Вера Семёновна умела не только читать нам лекции, но и на руку была очень скорая.

Мой отец тоже охоч до туманов и подзатыльников. Поэтому у меня не выходили из головы графин с кактусом. Нужно же было поставить этот графин точно под окно. И что только меня дёрнуло сунуть его под окно?

С рёвом прошёл над ДОСом самолёт. Хорошо лётчикам в небе! Простор! Никаких тебе неприятностей. Крути себе штурвал и лети куда хочешь.

С реки налетел ветер, погнал по дороге облака пыли. А из-за дома появился влюб-



лённый в авиацию полосатый козёл Назар.

Назар живёт в соседней деревне Сопушки. Как его там ни привязывают, он всё равно

удирает и, минуя часовых, отправляется на аэродром, где посочней трава. Был случай, когда из-за Назара самолёт ушел на второй круг. Один раз козла чуть не подстрелил часовой. Но отвадить его от аэродрома не смогли. Чтобы козёл издали бросался в глаза, шутики-мотористы размалевали его, наподобие шлагбаума, несмываемой чёрной краской и оставили в покое.

Нагнув голову с подпиленными рогами, Назар подошёл к лавке и уставился на нас с Эдькой жёлтым глазом. Козёл скучал и хотел порезвиться. Но мне было не до него.

Жёлтый Назаров глаз с узкой тёмной щёлкой смотрел мне в самую душу. Я терпеть не могу, когда мне заглядывают в душу. Особенно, если у меня плохое настроение.

— Чего вылупился? — шуганул я нахального козла. — Чеши давай, пока жив.

Назар принял мои слова за вызов. Он ещё ниже нагнул голову и затряс бородой. Трясение бородой означало подготовку к атаке. Рога у козла были тупые, но шея крепкая. Это он однажды мне уже доказал.

— Вам не дуёт? — спросил я у Назара.

В ответ он ещё резвее за-
тряс бородой. Он прямо ею
землю подметал, своей козли-
ной бородой.

— Оставь ты его, — толк-
нул меня Эдька. — Тебе что,
дырку в животе захотелось?

Я подумал, что в конце кон-
цов мне теперь всё равно.
Дырка так дырка. Хуже не бу-
дет. Мне только есть очень хо-
телось. Я ведь так с утра и не
позавтракал.

— А что? — сказал я. —
Дырка — это вещь.

Тут я вдруг вспомнил про
клизму. Клизма оттопыривала
карман. Я достал её и фырк-
нул в морду козлу клизмой.

Ему, наверное, никто не
фыркал в морду клизмой. Он,
наверное, страшно обиделся.
Мы с Эдькой скатились со

скамейки в разные стороны.
Подпиленные рога ударили
точно в середину скамьи.

Эдька взлетел по пожарной
лестнице. Я укрылся за желез-
ной бочкой. В бочке плавала в
воде зелёная бахрома.

Склонив голову набок, На-
зар соображал, с какой сторо-
ны меня лучше зацепить. Пока
он раскидывал своими козли-
ными мозгами, я набрал в
клизму воды и ударил в него
крепкой струёй.

Козёл недоуменно попятил-
ся. Затем он взял разгон и
бросился на бочку. Мне пока-
залось, что он прошибёт её
насквозь. Я кинулся к дверям
ДОСа. Я едва успел захлоп-
нуть за собой дверь на лестни-
цу, как в неё глухо клацнули
рога.



— У, зверюга! — сказал я, заглядывая в замочную скважину.

Назар стоял напротив двери и, как боевой конь, бил копытом в доски крыльца.

Перед тем как покинуть бочку, я успел наполнить клизму водой. Я сунул в замочную скважину кончик клизмы и надавил на грушу. Я давил на грушу до победного, пока в ней не захлюпало и не зачавкало. После этого я вновь приложился глазом к скважине. И тут вместо козла я увидел что-то чёрное с медными флотскими пуговицами.

Приоткрыв дверь, я высунил голову наружу и онемел от ужаса. Брезгливо морщась, начальник штаба полка подполковник Серкиз отряхивал чёрными кожаными перчатками воду с кителя и с безупречно отглаженных брюк. Я хотел спрятать голову обратно и не смог. На меня напал столбняк.

Назару, кажется, тоже не понравилось появление подполковника. Козёл тряс бородой и косил на начальника штаба жёлтым глазом.

Серкиз щёлкал перчатками по штанам и следил за козлом. Как правило, козёл, если его не трогали, на людей не кидался. Но на этот раз он был в запале.

Подполковник не дрогнул перед стремительной атакой козла. Он встретил её достойно. Подполковник схватил Назара за рога. Мгновение, и козёл тяжело плюхнулся на бок.

Он плюхался ещё два раза и упрямо рвался вперёд.

Поднявшись с земли в третий раз, Назар отступил. Он задумчиво пожевал нижней челюстью и, вздымая пыль, отправился по дороге к аэродрому. Чем-то он чуточку смахивал на Тараса Коваленко. Наверное, гордой походкой. Назар пританцовывал на своих высоких копытцах, точно на цыпочках.

Только тут подполковник обратил внимание на мою голову. Голова боком торчала из двери.

— Ты чей? — спросил подполковник.

Если бы я и мог, я бы всё равно не сказал, чей я. Но я так и не мог ничего сказать. У меня отнялся язык.

— И как это вообще прикажешь понимать? — продолжал подполковник, показывая на свои брюки в тёмных пятнах.

Я не знал, как это приказать ему понимать. У меня лишь мелькнула мысль, что сейчас он нажмёт на дверь и без всякого отщемит мне голову. Её было очень легко отщемить.

— Ну! — рявкнул он.

Меня придавило к земле. Моя несчастная голова скользнула в щели и затормозилась где-то на уровне ручки.

— М-м, — выдавил я.

— Что?

— М-м, — сказал я громче, моля его глазами, чтобы он не нажал на дверь.

Он вытащил меня за шиворот на улицу и спросил:

— Так как же всё-таки понимать это свинство?

Проведя языком по губам, я трясущейся рукой протянул ему рыжую клизму.

Я протянул ему клизму без всякого умысла. Я протянул её только потому, что у меня отнялся язык. А я хотел показать Серкизу, что я облил его вовсе не нарочно, что во всем виноват только козёл. Но глаза у подполковника стали совершенно страшными, нижняя губа посинела, задрожала и полезла куда-то к скуле.

Я помню лишь, как мчался потом сквозь кусты и огороды, что-то сшибал и опрокидывал. Меня подгонял и душил леденящий душу ужас. Не страх, не испуг, а именно ужас, который заглушил во мне всё человеческое. Я ничего не видел перед собой, кроме перекошенного гневом лица, дрожащих синих губ и страшных глаз. Так, наверное, в панике уносил ноги от пещерного медведя мой далёкий предок, когда ещё не умел говорить, но уже научился трусить и спасать свою шкуру.

Эдька догнал меня только на берегу реки, недалеко от дебаркадера. От страха я потерял всякий рассудок. Я мог, наверное, через реку пешком убежать. И вообще. Со мной это случилось впервые, чтобы я от страха начисто потерял рассудок.

— Хо-хо, — сказал Эдька, — как ты Сервиза передрейфил.

Эдька был такой храбрый, что за глаза называл Серкиза не иначе, как Сервизом.

Мы сидели на траве. На дебаркадере женщины поджида-

ли из города «кирилку». Пароходы у нас называют «кирилками» потому, что до революции весь здешний речной флот принадлежал купцу Кириллову. Как их звали до революции «кирилками», так по привычке и до сих пор зовут.

— На длинные дистанции ты теперь первое место по школе займёшь, — сказал Эдька.

Я молчал. Я сидел и думал, что раз я таким трусом родился, значит таким трусом и помру. С этим теперь ничего не поделаешь.

— А Назара подполковник здорово за рога скрутил, — сказал Эдька. — Смелый вообще-то Сервиз. Видал, у него колодок сколько.

Орденских планок сияло на груди у подполковника четыре ряда. Это я каким-то образом всё же успел заметить.

— А я ему знаешь куда клизмой? — фыркнул вдруг я. — Как вжал до отказа...

На меня ни с того ни с сего навалился такой смех, что я даже задыхаться стал. И Эдька тоже от меня заразился. Мы как с ума посходили. Мы катались по траве и гоготали, словно психи.

— У-ха-ха! — задыхался я. — Прямо... понимаешь... У-ой-ой!

Лёжа на спине, я работал ногами, как на велосипедных гонках.

На дебаркадере улыбались женщины. Мне было противно, что я хохочу, как последний идиот. Но чем больше я хотел

остановиться, тем сильнее меня разбирал хохот.

Спас нас от хохота лейтенант Руслан Барханов. Он появился со своим неизменным дружком Тарасом Коваленко будто из-под земли и сказал:

— Умру от зависти, если не узнаю, отчего такая радость.

Руслан стоял над нами и сиял весёлыми голубыми глазами. Всё у него было ладным и весёлым — и узкий хлопчатобумажный китель, и планшет с воткнутой в него ромашкой, и коротко подстриженные, точно ещё не успевшие отрасти, спускающиеся мысиком на лоб, тёмные волосы. Говорят, что это особенно красиво, когда у человека голубые глаза и тёмные волосы.

— Ей-богу, умру, — жалобно повторил он.

Русланов друг Тарас Коваленко, который недавно женился на официантке Рите, разглядывал нас, недовольно прищурившись. Он был очень гордый, лейтенант Тарас Коваленко. Ростом он, правда, немного подкачал, но зато ходил лихой танцующей походкой, словно у него в каблуки были заделаны пружинки. А на голове у Коваленко шевелился прозрачный цыплячий пушок.

— Нашёл тоже с кем л-ла разводить, — сказал Коваленко. — Идём, слышишь.

Но Руслан не слышал. Руслан клялся нам, что в самом деле помрёт, если мы скроем от него причину своей радости.

Нам нечего было скрывать. Мы рассказали ему, какая

штука приключилась у нас с Серкизом.

— Клизмой? — обрадовался Руслан. — Врёте!

Кажется, Коваленко и тот улыбнулся. А Руслан прошёлся вокруг нас в лезгинке и заявил, что отныне он мой неплатный должник.

— Требуй чего хочешь, — сказал он.

Мне было нечего от него требовать. Разве что пострелять из мелкокалиберки с оптическим прицелом. Но я не стал напоминать ему про мелкокалиберку. А тут Эдька заметил, что я с утра ещё ничего не ел, и Руслан потащил меня на дебаркадер к дяде Косте.

Коваленко с нами не пошёл, остался на берегу.

— Только ты побыстрей там, — сказал он Руслану.

Дядей Костей у нас зовут толстую буфетчицу в замусоленном белом халате. Она торгует пивом, папиросами, бутербродами и из-под прилавка — водкой. Когда-то здесь работал взаправдашний дядя Костя. Если кому из офицеров хотелось выпить, то он звал друзей к дяде Косте. На острове не говорили «выпил». Говорили: «Сходил к дяде Косте». Потом дядя Костя проворовался и попал под суд. Но офицеры так по-прежнему и ходят «к дяде Косте».

Бутерброды с краковской колбасой оказались у дяди Кости твердыми, как подмётка. Для себя и Коваленко Руслан взял две коробки сигарет «Друг». Они курили только

самые дорогие сигареты, с золотым кончиком.

О просмоленные борта дебаркадера тихо плескалась вода. На дощатом потолке переливались отраженные от воды зайчики.

Мы вышли из буфета. Над рекой скользили белые чайки. У трапа нас поджидал Кит.

— Я вас везде искал, — сказал Кит. — А вас, так же само, нигде нету.

Кит учился с нами в одном классе и жил в Сопушках со своей прабабушкой. У него было плоское лицо и косые глаза. Он то молчал, словно утопленник, то произносил длинные речи, в которых через два слова вставлял «так же само». От его умных речей нас с Эдкой выворачивало наизнанку.

У перил, поджидая «кирилку», грелись на солнце женщины. Руслан прошёл мимо них походкой главного героя из кинофильма «Великолепная семёрка». В глазах у него голубело небо. Женщины завидовали, что он такой красивый и смелый. Ни у кого из них не было такого красивого и смелого мужа.

— А ну-ка! — Руслан подмигнул нам и легко махнул через перила.

От дебаркадера к вбитой на

берегу свае тянулся стальной, в палец толщиной, трос. Руслан осторожно поставил на трос ногу. Трос провисал и раскачивался. Внизу, между песчаным берегом и бортом дебаркадера, плавала апельсиновая кожура и грязные щепки.

Балансируя руками, Руслан скользнул по тросу и прыгнул на берег. Взлетела сзади лёгкая планшетка с воткнутой в неё ромашкой. Одобрительно качали головами женщины. Высунулась из окна буфета толстая дядя Костя, послала вслед Руслану воздушный поцелуй:

— Ягодка Русланчик! Душенька!

— Очень проворный человек Руслан Барханов, — изрёк у нас за спиной Кит. — Всё может. У меня отец моржей бьёт. Бабушка говорит, что он так же само всё может.

Меня подмывало обернуться и тюкнуть Кита по кумполу. Терпеть не могу умных речей, особенно когда не нужно никаких речей.

Руслан закурил с Коваленко по толстой сигарете с золотым кончиком и помахал нам рукой. Они отправились в сторону санчасти. Руслан всё свободное от полётов время торчал у Фени в санчасти.

(Продолжение следует)

Биография одного стихотворения

У стихов, как у людей, есть свои биографии. Они рождаются, взрослеют, в них влюбляются. Стихи путешествуют, сражаются, умирают или уходят в бессмертие.

Это — рассказ об удивительной биографии одного стихотворения.

ДЛЯ ВАС, МАТРОСЫ!

Петроград завалило снегом. Сугробы стояли вровень с окнами. Когда с моря приходил тёплый ветер, он стучался о холодные камни домов, и они зарастали инеем.

В холодной пустоватой комнате на тихой Надеждинской улице сидел, горбачась, большой крутоплечий человек, дул на мёрзнувшие пальцы, писал, думал. Он был поэт. Он думал о том, как приспособить стихи к этому мёрзнущему и борющемуся городу. «Холодные квартиры пусты, — думал он, — книги — не лучшее топливо. Квартиры сегодня на колёсах теплушек, жильцы греются на митингах, и если у вас, товарищ Маяковский, есть стихи, то можете получить слово в общем порядке ведения собрания»...

Брякнул телефон. Звонили из бывшего Гвардейского экипажа, требовали, чтобы приехал читать стихи матросам.

Ехать надо было на Екатеринбургский, через весь город. Извозчик медленно тащился по заснеженным улицам. Маяковский дул на пальцы, они не держали карандаш. Нужны стихи, которые бы разогрели людей. Он вспомнил, как год назад извозчик вёз его по набережной. Из-за угла, выливаясь сплошной стальной лентой, стягивались на набережную отряды. Гулко звучали шаги: «левой! левой! левой!» Сейчас лошадь оди-



ноко тащилась сквозь снежную пелену, покачивая головой. И в такт совсем другому, внутреннему ритму разбегались и сталкивались строчки, складываясь в крепкий стих.

В зале матросского клуба бушлаты смешались с платочками; в тёмных углах повизгивали гармошки, хрустела подсолнечная шелуха на полированных полах. Дыхание замерзло облачком возле рта. Маяковский вошёл стремительно, сбросил пальто и встал на сцене: крупный, с непокрытой головой, только вязанный шарф обматывал шею.

— Матросы! Я для вас специально написал стихотворение! — И в примолкшем зале — впервые:

*Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляuze.*

*Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер!*

Правой рукой он размотал и сбросил шарф. Весь вытянулся на встречу залу.

Гасли редкие смешки.

*Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.*

Левой!

Левой!

Левой!

Эй, синеблузы!

Рейте!

За океаны!

Или

*У броненосца на рейде
ступлены острые кили?!*

Когда охрипший и разогретый Маяковский уходил с вечера, он услышал позади себя:

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

Родился «Левый марш».

КАЛИБР КОЛЫТА — 33

Пароход «Эспань» шёл к Мексике. Маленький пароход — три класса, две трубы, одно кино и кругом много-много воды. Волны сбегались и разбегались, вздымались водяными глыбами и рассыпались в брызги. Казалось, будто они митинговали, выбрасывали лозунги, шли на приступ. И вот, как знамя победы, взвилась над океаном огромная радуга, отразилась в океане, замкнулась, и в этот радужный обруч вскочил пароход.

Сразу за таможенной порта Вера-Круц — непонятная, удивляющая жизнь: и дела, и встречи, и еда, и стихи — всё на улицах. На вокзале в Мехико-Сити Маяковского встретил Диего де-Ревера — знаменитый мексиканский художник и один из основателей коммунистической партии Мексики. Он двигался по улицам большой, как туча, нависая над толпой, пожимал руки, отвечал на сотни поклонов. Вот это был попутчик! Он вёл Маяковского смотреть

свою последнюю работу — роспись ещё не законченного здания Министерства народного просвещения. На стенах — история Мексики и её будущее. Подымающаяся борьба. Галерея расстрелянных революционеров. Стройка. И — Коммуна, расцвет искусства и знаний.

Маяковский должен был ответить стихами. Какие стихи можно было читать у этих стен? Он выбрал «Левый марш».

*Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пилиться?*

Крепи

у мира на горле

пролетариата пальцы!

Грудью вперёд браво!

Флагами небо оклеивай!

Кто там шагает правой?

Левой!

Левой!

Левой!

Морено, коммунист из Вера-Круц, попросил у него записную книжку и вписал в неё по-испански: «Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы ещё только слушаем ваш марш, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наш 33».

Они снялись, обнявшись, на ступенях какой-то лестницы, среди кактусов и жаркого мексиканского солнца. По-мальчишески лёгкий Морено в изящном европейском костюме, перепоясанный тяжёлым кольцом, и Маяковский — усталый, растроганно-добрый, прищурившийся в завтрашний день Мексики.

КОМУ ОН НУЖЕН

Стара,

коса,

стоит Казань.

Шумит бурун:

«шурум...

бурум...»

По-родному

таратора,

Снегом

лужи намарава,

у подворья

в коридоре

люди

смотрят номера...

Всё, о чем написано в стихотворении «Казань», — документальная правда. Даже день известен точно — 23 января 1928 года.

В номере старой скрипучей гостиницы «Казанское подворье», где остановился Маяковский, не протолкнуться. Сюда — паломничество. Журналисты, студенты, поэты — вся шумная, разноязычная Казань сбилась в комнате. Но вот замолчали. Молоденький парнишка, красный от смущения, пробирается на середину: «Я хочу прочитать ваш «Левый марш» по-татарски...» И дальше всё, как рассказано у Маяковского:

*Входит второй. Косой в скуле
И говорит, в карманах порыскав:
Я — мариец.*

*Твой «Левый»
дай
тебе
прочту по-марийски.
Эти вышли.
Шедших этих
в низкой двери
встретил третий.
Марш ваш —
наш марш.*

Год спустя Маяковский сидел один в своей московской комнате, в Гендриковом переулке. Целый день он отругивался от критиков: его стихи — грубая агитка, он непонятен массам. Было грустно. Куда-то в этот день подевались все друзья. Было тихо в ночном переулке. Может, и правда — не нужен?

Он постоял, уткнувшись лбом в окно, открыл форточку. И вместе с морозным воздухом в комнату ворвались звонкие голоса:

*Переулоч,
мощённый славой.
Дом запомните все вы.
Кто там шагает
правой?*

*Левой!
Левой!
Левой!*

Это возвращались рабфаковцы с вечерних лекций, будоража ночную Москву.

СЛОВОМ МОЖНО СПАСТИ

В этот апрельский день 1945 года группу чешских антифашистов перевозили из Терезинской малой крепости в Пражскую тюрьму. Гестаповцы неистовствовали. Счёт шёл на дни. Заключённые этого не знали. После мучительного дня сидели, сгорбившись, у стены, уткнув лицо в ладони. В такие минуты кажется, что весь мир забран в решётки. Один из парней глухо спросил: «Как вы думаете, долго мы останемся в живых?» Его сосед поднял голову и, вместо ответа, медленно, разбитыми в кровь губами начал читать:

*Там
за горами горя
солнечный край непочатый.
За голод,
За мора море
Шаг миллионный печатай.
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой, —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!*

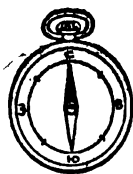
Смерть ушла из камеры. Если кто-то вспоминал теперь о доме, то уже не отворачивался, не прятал глаз, — в них была надежда. Об этом случае рассказал один из сидевших у той тюремной стены — чешский поэт Станислав Нейман. «Эти стихи, — сказал он, — уберегли нас тогда от самого горького — от того, чтобы мы позволили себя сломить».

Не умирают стихи. Нет у рассказа конца. Ещё не раз загремит, раскатываясь на чьих-то басах:

*Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
...Пусть,
Оскалясь короной,
вздымает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!*

И. СВЕРДЛОВА
Рис. В. Адаева

ПЕСТРЫЕ ЗАМЕТКИ

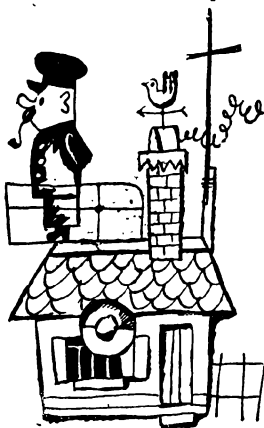


Шесть лет назад Ферруччо Константины, житель деревушки Кампалето, расположенной недалеко от Венеции, распростился с морем. За свою долгую жизнь он прошёл не одну тысячу миль, побывал во многих уголках земного шара. Но настал день, когда компания предложила Ферруччо подать в отставку из-за преклонного возраста. И

МОРЯК — ВСЕГДА МОРЯК!

вот старый моряк оказался на суше.

Ферруччо вскоре понял, что без корабля он никак не может. На удивление всей деревне,



он решил построить свой корабль на... крыше дома. Вскоре крыша превратилась в палубу, где постепенно возникли корабельные над-

стройки: капитанский мостик, рубка и даже труба и мачта. Комнаты дома стали «каютами». Каждое утро по чердачной лестнице старый капитан поднимается на палубу своего корабля.

— Лево руля, малый ход, подготовиться к спуску шляпки на воду!.. — слышат удивлённые жители сухопутной деревушки;

РЕДКАЯ ДРУЖБА

В одном из дворов села Казинка Липецкой области мирно разгуливает неразлучная пара — молодой красавец лосёнок.

Эта редкая дружба началась так: ранней весной ребята из казинской средней школы нашли в лесу маленького лосёнка. Он едва держался на тонких ножках. Свою живую находку школьники принесли в село. Выходить лосёнка взялся большой любитель природы тракторист П. Я. Долгов.

Прошёл год. Малик, так назвали лосёнка, уже перерос своего молочного брата — телёнка. Малик не покидает гостеприимного двора, принимает пищу из рук человека и никогда не разлучается с телёнком.

РАСТИТЕЛЬНОЕ... СЛИВОЧНОЕ МАСЛО!

Авокадо. Родина этого вечнозелёного растения — Мексика. Встречается оно и у нас, в субтропических районах Грузии. Деревья осенью дают урожай — крупные, похожие на грушу, плоды.

Природа щедро наградила авокадо высокопитательными веществами. Под тонкой, легко отделяющейся кожурой находится зеленовато-жёлтая мякоть, напоминающая по вкусу... сливочное масло. Она богата всеми видами витаминов. По пищевой ценности этот плод не уступает мясу.

Авокадо считается единственным в мире плодом, способным поддерживать жизнь организма при давлении только воды.

ПОБЕДИЛ ГУСЫ

Тревожные крики гусей разбудили жителя деревни Буриказганово (Башкирская АССР). Открыв двери сарая, он замер в удивлении: разъярённый гусак терзал мёртвую лису.

Ночью хищница забралась в сарай и схватила гусыню. На защиту подруги бросился гусак. Град ударов мощного клюва обрушился на лису. После долгой и трудной схватки птица одержала победу над зверем.

★
...самые большие обезьяны в мире — гориллы? Их рост достигает двух метров, а вес — 250 килограммов. Самые маленькие обезьяны — мармозетки из семейства игрунгов. Они живут в джунглях Южной Америки. Их рост — 20—25 сантиметров, вес — 250—500 граммов.

★
...в нашей солнечной системе около двух миллионов комет? Значительная часть этих небесных тел, по мнению ученых, возвращается в район относительной близости к Солнцу только один раз в тысячу лет.

★
...ртутные «ручьи» обнаружили геологи в отрогах Алтайского хребта? «Напли» самородной ртути в горах Киргизии, где расположен ртутный полюс, встречаются часто. Но целые «ручейки» этого ценного металла найдены впервые.

★
...первые шарманки появились в России в конце XVII века? В народе их называли «катеринками» — по популярной песне, которая на них исполнялась: «Во всей деревне Катеринка красавицей слыла». Эта песня была переведена с французского и в оригинале имела название: «Шарман Катерина». Отсюда и название — шарманка.



★
...интересное явление природы наблюдается в Араванских пещерах южной Киргизии? Сталактиты и сталагмиты образовали здесь причудливые узоры, напоминающие цветы. Под воздействием потоков воздуха они издают мелодичное звучание. Местное население называет эти подземные залы пещерами «поющих цветов».

★
...обширные пространства дна Тихого, Индийского и Атлантического океанов устланы сплошным покровом железо-марганцевых руд? Их запасы только на поверхности дна определены в 300—350 миллиардов тонн. Содержание железа и марганца достигает 40—60 процентов. Некоторые страны, в том числе США, уже приступили к добыче руды в океане.

★
...в Венгрии живёт мать... 100 детей? Это 78 летняя Киш Кальманне из Кишуйсаллаша. Рано овдовев, она воспитала шестерых детей, а потом посвятила жизнь приёмным. За сорок лет эта замечательная женщина поставила на ноги 94-х мальчиков и девочек.

★
...в Японии выводятся петухи с хвостом в несколько метров? Названа такая порода петухов фениксами. Интересно, что селекционерам приходится приспособливать легкие тележки, на которых фениксы и возят свой хвост.

★
...швейцарские специалисты сконструировали деревообделочную установку, значительно облегчающую труд лесорубов? Оригинальная машина сама взбирается на дерево, а затем, спускаясь, по пути срезает все ветки. После одного рейса дерево становится гладким, как телеграфный столб.

★
...и материнки дрейфуют? Обнаруженные в Сомали продолжения долин пересыхающих рек, начинающихся на юге Аравии, свидетельствуют о дрейфе Аравийского полуострова. Скорость дрейфа, начавшегося около 20 миллионов лет назад, составляет два сантиметра в год.

★
...самый сильный в этом году дождь, продолжавшийся 14 часов, прошёл в Дели (Индия)? Только за первый час выпало 60 миллиметров осадков. Многие улицы и площади города оказались под водой.



ДВА ОСТРОВА

Отдел ведёт В. Акентьев

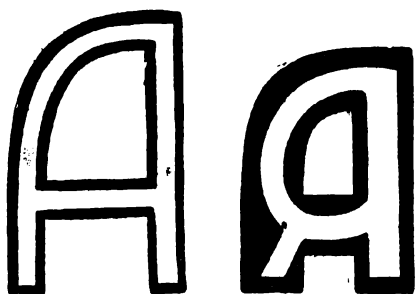
Дважды отбили склянки, а юнга всё не мог решить задачу капитана Мореходова — прочесть название острова, расположенного в Японском море.

— Как же читать, если тут и всего-то одна буква?! — недоумевал он.

— Одна, думаешь?.. — Капитан попытался трубкой и предложил юнге другую задачу: прочесть название крупного острова Малайского архипелага.



ИЗ ДЕСЯТИ. — ОДНУ...



Эту задачу юнга решил сразу...

А вы? Сможете вы решить обе задачи?

НЕЗНАКОМКА...

Она долго шла берегом реки, то спускаясь к самой воде, то отходя в сторону, потом повернула, перешла поле и углубилась в лес.

Здесь, петляя между кочками, обходя густые заросли, где-то в молодом колючем ельнике она утерала букву, а потом и другую...

И превратилась в замкнутую кривую, опоясывающую земной шар. А две потерянные буквы превратились в предлог.

О чём здесь говорится?

Даны десять пословиц. Выпишите из каждой по одному слову, но так, чтобы образовалась ещё одна пословица.

Порядок слов менять не нужно и сами выбираемые слова не должны подвергаться каким-либо изменениям.

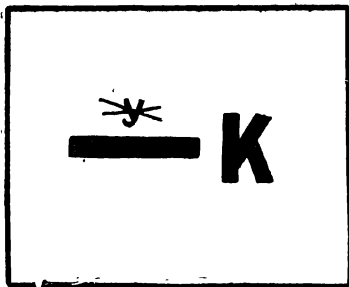
1. Без народа — не воевода.
2. В мире, что на ряду, — не говори, что не могу.
3. Грамоте учиться всегда пригодится.
4. Что посеял, то и пожнёшь.
5. Легко забыть то, чего не знаешь.
6. Человека уважай, но достоинства не теряй.
7. Знай край, да не падай.
8. Всегда и всюду будь лицом к люду.
9. Ум без книги — что птица без крыльев.
10. Говоришь красиво, да слушать тоскливо.

РЕБУС-ШУТКА

А ну-ка, подумайте — какое слово здесь зашифровано.

Д Я Р Д Г Л И Н А К А Р А П В О Л Ы П А М П Е Р Ф У Т
Ш А Р З А К Р М И Л И П О И Н А К А Р А П В О Л Ы П А М П Е Р Ф У Т
Σ А К Р Σ И Л И П О И Н А К А Р А П В О Л Ы П А М П Е Р Ф У Т

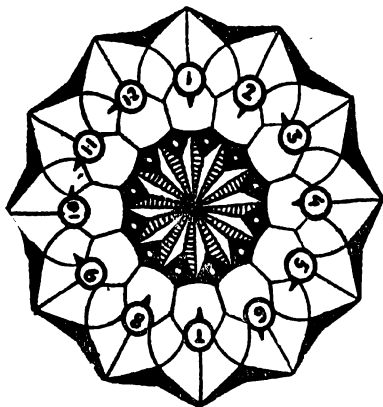
РЕБУС-МАЛЮТКА



Что здесь зашифровано, — как вы думаете?

ЗАДАЧА

Отгадайте двенадцать слов и впишите их в клетки фигуры. Каждое слово вписывается вокруг соответствующей цифры по часовой стрелке, начиная с клетки, отмеченной клинышком.



1. Низкая температура. 2. Естественный водоём. 3. Музыкально-вокальное драматическое произведение. 4. Всесоюзный пионерский лагерь. 5. Заход солнца. 6. Нестихотворная литература. 7. Пьеса А. Островского. 8. Средство переправы через реку. 9. Печь. 10. Порода собак, используемых для охоты на норных зверей. 11. Скопление людей. 12. Наводнение.

Содержание

Песня коммуны. Стихотворение В. Князева	1
Марш Будённого. Стихотворение Н. Асеева. Холоки. Стихотворение Н. Заболоцкого	2
Жизнь моя, революция!.. Рассказ О. А. Дроздовской в литературной записи Г. Петрова	4
Исповедь. Стихотворение М. Романова	23
За Литейным мостом. Главы из повести И. Булышкиной и Н. Ермоловича. Продолжение	24
Кронштадтцы. Стихотворение Г. Трифонова	34
Октябрь в июне. Очерк Д. Толмачёва	35
Баллада о бессмертии. Стихотворение С. Когана	40
Тёмные крылья. Повесть К. Курбатова	41
Биография одного стихотворения. Статья И. Свердловой	58
Пёстрые заметки	61
Клуб смекалистых ребят	63

На 1-й странице обложки рисунок художника Г. Ясинского «Первая высота».

На 2-й странице обложки фотография Г. Сафонова «На призыв газет „Ленинские искры“».

На 4-й странице обложки рисунок художницы Г. Моисеевой «Праздник».

Редактор В. Л. БИАНКИ

Адрес редакции: Ленинград, Д-23. Фонтанка, 59, комн. 115

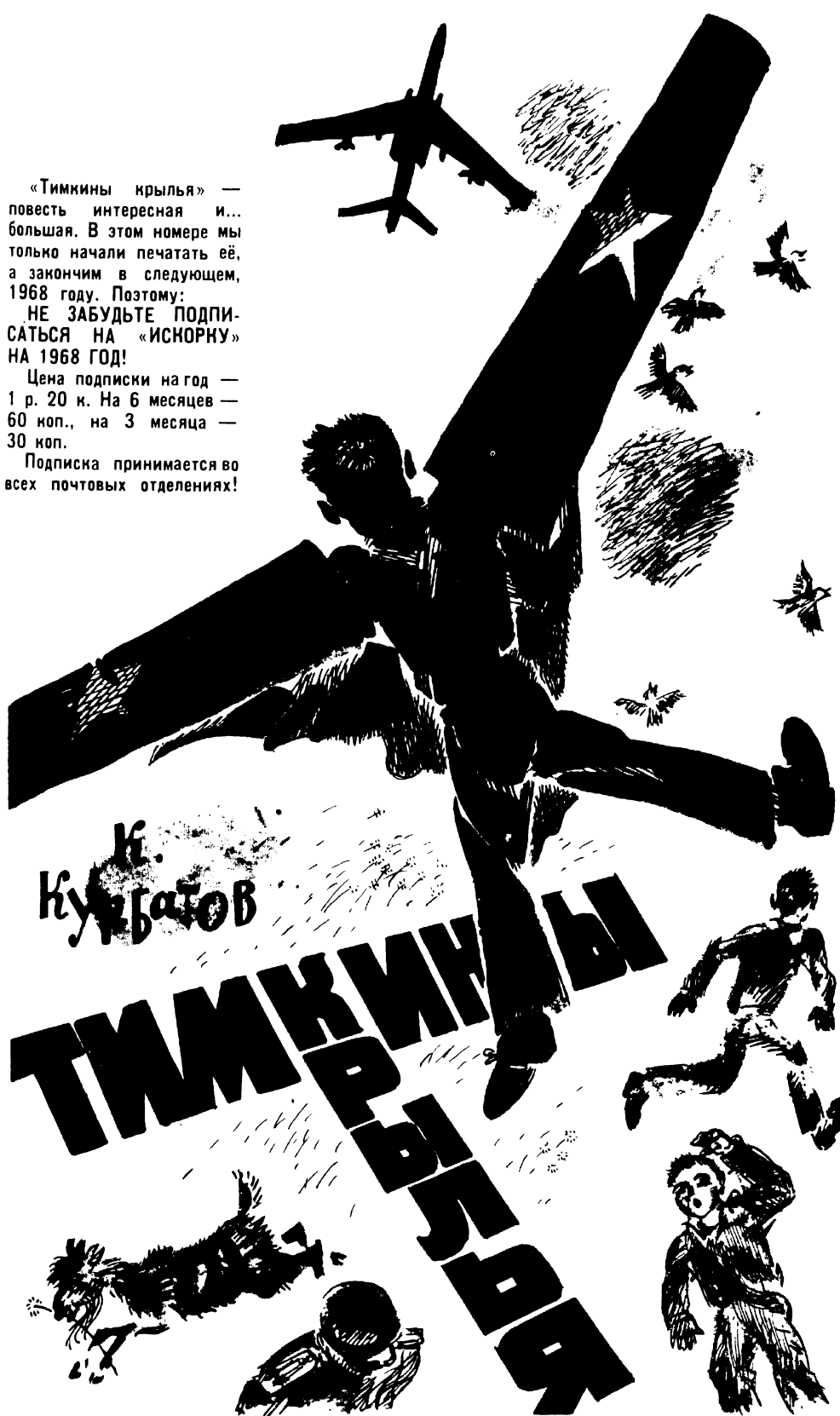
Сдано в набор 28/VIII 1967 г. Подписано к печати 16/X 1967 г. 4 печ. л. М-26921. Заказ № 1438. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Цена 10 коп. Тираж 69 800 экз. Типография имени Володарского Лениздата, Ленинград, Фонтанка, 57

«Тимкины крылья» — повесть интересная и... большая. В этом номере мы только начали печатать её, а закончим в следующем, 1968 году. Поэтому:

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА «ИСКОРНУ» НА 1968 ГОД!

Цена подписки на год — 1 р. 20 к. На 6 месяцев — 60 коп., на 3 месяца — 30 коп.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях!



К.
Курбатов

ТИМКИНЫ КРЫЛЬЯ

цена 10 коп.

